

Мария Конопницкая История о гномах и сиротке Марысе



Свыше двухсот иллюстраций
и элементов оформления
польских художников

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ





Мария Юзефовна Конопницкая
(1842–1910)



Мария Конопницкая
История о гнолах
и о сиротке Марысе



Перевод с польского *В. М. Лаврова*
Иллюстрации *польских художников*



творческое объединение
Алькор

*Совместный проект издательства СЗКЭО
и переплетной компании
ООО «Творческое объединение «Алькор»*



Санкт-Петербург
СЗКЭО

ББК 84(4)-44
УДК 821.162.1
К64

Первые 100 пронумерованных экземпляров
от общего тиража данного издания переплетены мастерами
ручного переплета ООО «Творческое объединение «Алькор»

Классический переплет выполнен
из натуральной кожи особой выделки растительного дубления.

Инкрустация кожаной вставкой с полноцветной печатью.

Тиснение блинтовое, золотой и цветной фольгой.

6 бинтов на корешке ручной обработки.

Использовано шелковое ляссе, золоченый каптал из натуральной кожи,
форзац и нахзац выполнены из дизайнерской бумаги
с тиснением орнамента золотой фольгой. Обработка блока
с трех сторон методом механического торшонирувания
с нанесением золотой матовой полиграфической фольги горячим способом.

Оформление обложки пронумерованных экземпляров
разработано в ООО «Творческое объединение «Алькор»

К64 Конопницкая М. История о гномах и сиротке Марысе. — Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2024. — 272 с.: ил.

Мария Юзефовна Конопницкая (1842–1910) — польская писательница, переводчица и литературный критик. «История о гномах и о сиротке Марысе» является ее наиболее известным произведением для детей. В ней маленькие подземные волшебники помогают девочке найти своих пропавших гусей. Текст сказки дан в переводе Вукола Михайловича Лаврова. Издание украшают цветные и черно-белые иллюстрации польских художников.

© СЗКЭО, 2024

© Дизайн кожаного переплета. ТО Алькор

ISBN 978-5-9603-1040-6 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-1041-3 (Кожанный переплет)



казка это иль не сказка,
А слышали все давно мы, —
Хочешь верить иль не верить, —
Что живут на свете гномы.

Удивительный народец —
Сотня спрячется в кармане.
Все подробности, конечно,
Вы узнаете от няни.

На горах, в ущельях, в ямах,
То в печурке, то в каморке
Заседают важно гномы
В каждой малой мышьей норке.

Под камином, под порогом,
Всюду встретите их смело:
Тот присматривает в кухне,
Чтоб жаркое не сгорело,

Тот кусочек стащит сала
Или сахарную пенку,
Тот поднимет крошку хлеба,
Что падёт вам на коленку;

Тот бичом в конюшне щёлкнет,
Тот коням сплетает гриву,
Детям рассказывает сказки —
Поневоле дашься диву!

Прошмыгнёт повсюду тенью,
Словно зёрнышко гороха,
От него не открестишься, —
Ловок маленький пройдоха!

Впрочем, верьте иль не верьте, —
Дело в правде, не в обмане.
А живут ли в мире гномы,
Вы спросите-ка у няни.





Как придворный летописец
короля Огонька
распознавал весну





I



ак тяжела и длинна была зима, что всемилостивый Огонёк, король гномов, примёрз к своему трону. Седая его голова сделалась серебряной от инея, у бороды висели ледяные сосульки, брови казались грозными и свирепыми; в короне вместо жемчужин искрились капли замёрзшей росы, а пар от дыхания оседал снегом на хрустальных стенах его горной пещеры. Верные подданные короля юркие гномы кутались, как могли, в свои красные плащи и нахлобучивали большие капюшоны. Многие из них соорудили себе шубы и тулупы из зелёных и коричневых мхов, собранных в лесу ещё осенью, из словых шишек, из древесной коры, из беличьего пуха и даже из пёрышек, которые обронили птицы, когда летели за море.

Но король Огонёк не мог одеваться так бедно и так просто. Зимой и летом он должен был носить пурпурную одежду, которая так долго служила королям гномов, что была уже порядочно потёрта, и ветер свободно проходил через неё. Положим, эта одежда даже в то время, когда была нова, не отличалась особенной теплотой, — сотканная из паутины тех красных паучков, что весной снуют по грядкам, она толщиной своей не превосходила макового лепестка.

И вот бедный королёк страшно дрожал, постоянно отогревая дыханием свои руки, которые так заковенели, что он даже и скипетра удержать в них не мог.

Известно всем, что в хрустальном дворце огонь зажигать нельзя. Как так? Всё потрескалось бы — и полы, и стены.



Вот и грелся король Огонёк при блеске золота и серебра, при лучах бриллиантов величиной в яйцо жаворонка, при радугах, которые луч дневного света зажигал в хрустальных стенах тронного зала, при искрах, сыплющихся от длинных мечей, которыми размахивали гномы как по прирождённой храбрости, так и для того, чтоб отогреться. Тем не менее, тепла от всего этого было очень мало, так мало, что бедный старый король в ожидании весны щёлкал зубами, которые ещё оставались у него.

— Подберёзник, — сказал он одному из дворян, — слуга мой верный! Выгляни на свет, не идёт ли весна?

Подберёзник покорно ответил:

— Король и господин! Мое ещё время не наступило, пока крапива не начала зеленеть под крестьянским плетнём. А до того ещё далеко!..

Покачал король головой, а через минуту вновь сделал знак рукой и проговорил:

— Синичка! Может быть, ты выглянешь?

Но Синичке не хотелось выставляться на мороз клювика. И она тогда ответила:

— Король и господин! Не настала ещё моя пора, пока трясогузка не зачирикает. А до того ещё далеко!..

Король помолчал немного, но так как холод очень сильно допекал его, то снова заговорил:

— Божья Коровка, слуга моя! Может быть, ты выглянешь?

Но и Божьей Коровке тоже не хотелось выходить на мороз и вьюгу. И она поклонилась и ответила:

— Король и господин! И моя пора не наступит, пока под засохшим листком не пробудится мушка. А до того ещё очень далеко!..

Король опустил голову на грудь и вздохнул, да так, что от этого вздоха поднялся снежный туман и с минуту в гроте ничего не было видно.

Прошла неделя, прошли две недели, но однажды утром сделалось как-то особенно ясно, а с ледяных сосулек на королевской бороде начала капать вода.

В волосах его снег тоже начал таять, а иней опадал с королевских бровей, и замёрзшие капли, висящие на усах, сплывали, словно слёзы.



Иней тотчас же стал опадать со стен, а лёд на них трескался с таким грохотом, как при пробуждении Вислы. В комнате образовалась такая сырость, что все дворяне с королём вместе чихали, словно из пушки.

А нужно знать, что носы у гномов немаленькие.

Сам-то народ малорослый: когда гном увидит крестьянский сапог, то остановится, разинет рот и дивится, всё думает, что это ратуша. А когда влезет в куриный садок, то спрашивает: «Что это за город такой, и как тут добраться до заставы?» А если свалится в большую кружку, то пищит: «Караул! Я тону в колодце!»

Вот какая они мелочь!..

А носы у них на славу, так что любому органисту лучшего не нужно для того, чтобы табак нюхать. И вот они все чихают, так что земля трясётся, и желают доброго здоровья королю и друг другу.

Ехал в это время мужик в лес за дровами, услышал это чиханье и сказал:

— Ого, гремит! Сломала себе зима шею! — он подумал, что это весенний гром.

Мужик тотчас же повернул лошадь к корчме, чтоб не тратить денег понапрасну на дрова, и просидел там до вечера, рассчитывая и раздумывая, что и когда ему делать, чтобы на всё хватило времени.

Тем временем оттепель благополучно продолжалась. К полудню у всех гномов оттаяли усы.

Тогда они начали держать совет, кого бы им выслать на землю убедиться, действительно ли наступила весна.



Но король Огонёк стукнул своим золотым скипетром и сказал:

— Наш учёный летописец Чепухинский-Вздорный отправится посмотреть, пришла ли весна.

— Мудро королевское слово! — закричали гномы, и все очи обратились на учёного Чепухинского-Вздорного.

Тот, по обыкновению, сидел над огромной книгой, в которую записывал всё, что с древнейших времён случилось в государстве гномов, — откуда они взялись, какие у них были короли, какие войны они вели и с каким успехом.

Что он видел, что слышал, то записывал верно, а чего не видал и не слышал, то выдумывал так превосходно, что при чтении этой книги сердца у всех преисполнялись радостью.

Он первый доказал, что гномы, не более пяди вышиной, собственно говоря, гиганты, которые нарочно скрючиваются, чтобы у них меньше уходило сукна на кафтаны и плащи, потому что теперь всё стало дорого.

Гномы так гордились своим летописцем, что если кто найдёт какую-нибудь травку, то сейчас же сплетёт венец и возложит ему на голову. Эти венцы вытерли остатки его редких волос, и его голова была гола, словно колено.





II



отчас же начал собираться в экспедицию Чепухинский-Вздорный. Сделал он себе целый штоф самых чёрных чернил, потом очинил большое гусиное перо, которое, по милости его тяжести, должен был нести на плече, наподобие карабина, приторочил к спине свои огромные книги, подпоясал плащ ремнём, на голову надел капюшон, на ноги — лапти, закурил длинную трубку и предстал совсем готовый в дорогу.

Верные товарищи трогательно начали прощаться с учёным Чепухинским, опасаясь, не встретит ли его на земле какое-нибудь опасное приключение, да и вообще, увидят ли они когда-нибудь его вновь.

Сам милостивый король Огонёк с минуту продержал его в своих объятиях, потому что очень ценил Чепухинского-Вздорного за его учёность, но двинуться с места не мог, его платье совсем примёрзло к трону.

С высоты своего величия он только простёр свой скипетр над учёным мужем, а когда тот целовал королевскую длань, по королевскому лицу скатилось несколько светлых жемчужин и со стуком упали на хрустальный пол. То были замёрзшие слёзы доброго короля. Казнохранитель государства Грошик тотчас же подобрал их и, вложив в драгоценную шкатулку, отнёс в казнохранилище.

Учёный Чепухинский возился целый день, прежде чем вышел из грота на землю. Дорога была крутая, переплетённая корнями вековых дубов; обломки скалы, щебень и камешки вырывались

из-под его ног и с глухим шумом летели куда-то на дно пропасти; замёрзшие водопады светились, как глыбы льда. Учёный-путешественник скользил по их поверхности в своих лаптях и только с величайшими усилиями мог подниматься кверху.

В довершение несчастья, он не захватил с собой никакого подкрепления; таща огромные книги, большую чернильницу и большое перо, он уже не мог нести ничего другого.

Чепухинский-Вздорный совсем бы лишился сил, если бы не напал на хозяйственный дом некоего предусмотрительного хомяка.

Хомяк обладал полным амбаром разного зерна и буковых орешков и не только кое-что уделил проголодавшемуся путнику, но даже позволил ему отдохнуть на сене, которым был устлан весь его дом, с условием, чтоб об этом не узнали в деревне.

— Там, — пояснил он, — такие озорники мальчишки, что если бы узнали обо мне, то я ни на минуту не знал бы покоя.

Чепухинский-Вздорный с признательностью покинул дом гостеприимного хомяка.

Теперь он шёл весёлый и радостный, поглядывая из-под тёмного капюшона на мужицкие поля, на луга и на леса. Показывалась уже щётка молодых хлебов и неудержимо рвалась на поверхность земли; уже молодая травка начала выглядывать около влажных ямок; уже над полным ручьём покраснелись ветки лозины, а в тихом мгlistом воздухе были слышны крики журавлей, летящих где-то высоко-высоко.

Всякий другой гном по этим признакам понял бы, что весна уже близко, но Чепухинский-Вздорный с молодых лет был так погружён в свои книги, что, кроме них, не видал ничего в свете и ни в чём не понимал решительно никакого толку.

Но и у него в сердце была такая непонятная радость, такая бодрость, что он ни с того ни с сего начал размахивать своим пером и напевать известную старинную песню:

«...Все печали по затылку,
Ставь на стол ещё бутылку...»

Но не успел он пропеть и половины куплета, как вдруг слышал стрекотание стайки воробьёв на плетне, огораживающем поле. Он



сразу оборвал свою песенку, чтобы не браться со всякой дрянью, наморщил чело и пошёл вперёд, дабы эта голытьба ведала, что, будучи учёным мужем, он не станет водить компанию с какими-нибудь воробьями.

А так как и деревня была уже на виду, то он сошёл на межу, где будылья прошлогоднего бурьяна почти совсем скрыли его, и он, незамеченный никем, дошёл до первой избушки.

Деревня была большая, широко раскинувшаяся среди пока ещё черневших и безлиственных садов, а последние жилища почти совсем подходили к тёмной стене густого соснового леса.

Хаты были зажиточные, свежевыбеленные, из труб вылетал синий дым, на дворах скрипели колодезные журавли, работники поили коней и мычащих коров, а кучки детей с шумом играли на обсаженной тополями дороге.

Но надо всем этим царили стук молота и лязг железа в соседней кузнице, перед которой стояла кучка причитающих баб. Завидев их, Чепухинский-Вздорный начал осторожно прокрадываться вдоль плетня, остановился за кустом терновника и стал прислушиваться.

— Ах, злодей, ах, разбойник! — говорила одна баба. — Если он уже к кузнецу в курятник пробраться не побоялся, то от него никакой курицы не спрячешь.

— Курица! — воскликнула другая. — То не курица была, а золото! Изю дня в день несла яйца, да какие! В мой кулак. Во всей деревне другой такой нет.

Послышался ещё чей-то голос:

— А моего петуха кто задушил? Не его ли это дельце? Как я только увидела растрёпанные перья, так с горя чуть с ног не свалилась. Пяти злотых не взяла бы за него.

Первая перебила её:

— А что за предатель, что за палач! А какая сила у него в когтях! Если бы вы видели, какую он яму вырыл под курятником. Мужик и лопатой лучше не сделает. И никакого средства нет против этого разбойника!

В это время из кузницы выбежала кузнечиха, без кафтана, и, не обращая внимания на холод, остановилась у порога, приложила к глазам фартук и с громким плачем заголосила:

— Хохлаточки вы мои милые! Петушки вы мои золотистые! Что я теперь без вас делать буду, сирота я несчастная!..



Чепухинский-Вздорный дивился этому горю, прислушиваясь то одним ухом, то другим, потому что никак не мог сразу понять, в чём заключалось дело. Но вдруг он щёлкнул себя пальцем по лбу, потом уселся под плетнём среди бурьяна, откупорил чернильницу, омочил в ней перо и, открыв свою огромную книгу, начал заносить в неё такие слова:

«...На второй день моего путешествия я зашёл в несчастную страну, на которую напали листары, избили, передушили или увели в плен всех кур и петухов. Вследствие этого кузнец куёт мечи для предстоящей битвы, а перед кузницей раздаётся плач и ропот».

Он ещё дописывал эти слова, когда на пороге кузницы показался кузнец и гаркнул басом:

— Разве хныканья вам помогут? Тут нужно взять горшок с угольями и выкурить этого негодяя из логовища дымом. Известная вещь, что лис сидит в яме под лесом. Ясек, поскорее! Стах, чтоб одна нога здесь, другая там — собрать ребятишек и с лопатами на него! А ты, мать, не плачь, а только горшок с угольями готовь. Я и сам пошёл бы, да работа спешная.

И он тотчас же с порога возвратился в кузницу, и лязг железа послышался снова.

Но двое кузнечат, покинув мехи, бежали по деревне и кричали: «На лиса! На лиса!»

Потом и бабы потянулись к хатам снаряжать экспедицию.

Тогда внимательный ко всему Чепухинский-Вздорный снова омочил в чернильницу своё перо и вписал в книгу следующие слова:

«Над листарами царит неустрашимый вождь и хан, который именуется Великим Лисом, а скрывается он в лесных норах, откуда местное население намеревается выкурить его пушечным дымом».



Едва учёный летописец успел записать это, как до него долетели отголоски ужаснейшего шума. Смотрит он, а на него валит громада баб, детей и подростков с лопатами, с палками, с горшками, а за толпою, подвизгивая, скачут разные «Жучки» и «Хватаи». Ещё раз Чепухинский-Вздорный омочил перо и приписал к своей хронике следующее:

«В этой стране на войну с листарами ходят не мужики, а бабы, мальчишки и подростки; во время марша на неприятеля войско это учиняет страшный шум, бегом стремясь вдоль деревни, а за главной армией — полчище остервенелых псов своим лаем придаёт ей ещё большее мужество для предстоящего боя.

Сие видел собственными очами и скрепляю собственной подписью».

Тут он наклонил голову, прижмурил левый глаз и, подписав с краю листа: «Чепухинский-Вздорный, Придворный Историк Его Величества Короля Огонька», — украсил это широким и искусным росчерком.

Тем временем с другой стороны плетня до него долетел дымок можжевельника, который в особенности мил гномам. Потянул, вдохнул его Чепухинский-Вздорный своим огромным носом раз, потянул другой и, раздвинув хворост, начал смотреть, откуда выходит этот дымок. И вот у леса он увидел синий вьющийся шнурок, а когда хорошенько протёр очки, то различил в поле небольшой костёр и пастухов, сидящих вокруг него.

Добрый гном страшно любил детей; он пустился к костру напрямик паровым полем, направляясь прямо на этот дымок и потешно перескакивая через борозды.

Пастушонки удивились, увидав маленького человечка в дорожной одежде, подпоясанной ремнём, с капюшоном, с книгой под мышкой и с пером на плече.

Юзик Срокач тотчас же толкнул в бок Стаха Шафарчика и, показывая пальцем на этого человека, шепнул:

— Гном!

А Чепухинский-Вздорный был уже близко и ласково улыбался детям, кивая головой.

Дети широко раскрыли рты и с любопытством всматривались в него. Они ничуть не испугались, их только охватило внезапное



удивление. Они не боялись, потому что хорошо знали, что гномы никому вреда не делают, а бедным сиротам так и помогают даже. И вот Стах Шафарчик сейчас же вспомнил, что, когда прошлой весной его телята забежали в лес, то вот этакий малюсенький человек помог ему отыскать их и загнать на пастбище. Он ещё погладил его по голове, насыпал в шапку земляники и сказал:

— Не бойся! На вот тебе, сирота.

Тем временем Чепухинский-Вздорный подошёл к костру, вынул трубку из рта и вежливо сказал:

— Здравствуйте, дети!

Пастушонки важно ответили на это:

— Здравствуйте, господин гном!

Только девчонки прижались друг к другу, натянули платки так низко, что из-за них едва виднелись концы их носов, и, вытаращив голубые глаза, смотрели на гостя.

Чепухинский-Вздорный с улыбкой посмотрел на них и спросил:

— Можно погреться у вашего костра? Очень холодно!

— Конечно, можно, — решительно ответил Яська Кшеменец.

— Мы не скряги какие-нибудь! — добавил Шафарчик.

А Юзик Срокач ещё сказал:

— Садитесь, господин гном. На почётное место.

И он подобрал полы своего серого кафтана, давая гостю место у костра.

— А когда картошки испекутся, то и покушать можете, если хотите, — гостеприимно промолвил Кубусь.

Другие тоже не молчали:

— Понятное дело! Того и гляди испекутся — от них уж дух идёт!

Сел тогда Чепухинский-Вздорный и, ласково глядя на румяные личики пастушонков, заговорил растроганным голосом:

— Детки вы мои милые! Чем же я вам отплачу?

Но едва он сказал это, как Зоська Ковальчанка, закрыв глаза ладонью, быстро прокричала:

— А вы нам сказку расскажите.

— Э!.. Что сказка! — сказал на это солидно Стах Шафарчик. — Правда всегда лучше сказки.

— Верно, верно, что лучше! — согласился Чепухинский-Вздорный. — Правда лучше всего.

— Ну, коли так, — весело воскликнул Юзик Срокач, — то расскажите нам, откуда на этом свете взялись гномы?

— Откуда они взялись? — повторил Чепухинский-Вздорный и собирался было начать повествование, как вдруг картофель начал лопаться с превеликим треском, и дети тотчас же кинулись выгребать его из пепла и угольев.

Учёный муж всё-таки сильно испугался этого внезапного шума и, отскочив в сторону, спрятался за полевым камнем. И только из этой крепости он наблюдал, как дети едят какие-то круглые и дымящиеся шары, о которых он не имел ни малейшего понятия. Потом он раскрыл книгу и, опёршись на тот же самый полевой камень, дрожащей рукой начал вписывать следующие слова:

«Народ в этой стране настолько воинствен и мужествен, что даже и малые дети пекут в горячем пепле картечные пули, и когда эти пули от жары с треском начинают лопаться, тогда мальчишки, с пелёнок привыкшие презирать смерть, и даже слабые девочки выгребают эти с ужасным грохотом лопающиеся картечи и, ещё дымящиеся, прямо подносят к устам. Я был сам очевидцем, свидетелем сего, и, изумляясь такому рыцарскому мужеству, для вечной



памяти потомства сие записываю. Дан в поле, на нераспаханной земле, в предвечернюю пору».

Потом следовали подпись и выкрутасы почерка ещё более замысловатые, чем в предыдущий раз.

Тем временем в поле разнёсся такой аппетитный запах печёной картошки, что учёный муж вдруг почувствовал в себе какую-то пустоту и громкое бурчание в желудке.

Заметив, что лопающиеся картечи не приносят пастушонкам ни малейшего вреда, что даже, напротив, дети поглаживают себя по животу от вкусного кушанья, он вышел осторожно из-за камушка и медленно приблизился к костру. Зоська Ковальчанка тотчас же, слегка обчистив картофелину, подала её, насадив на хворостинку, учёному мужу, приглашая его взять её и кушать.

Не без тревоги Чепухинский-Вздорный отведал картофелину, нашёл её вкус очень приятным и тотчас же протянул руку за другой. Девчонки начали угощать его и вскоре так с ним освоились, что Кася Бальцеровна последний кусок сама вложила ему в рот, отчего все остальные, а Кася громче всех, запищали от радости.





III



нова сел у огня Чепухинский-Вздорный, подкрепив силы. А когда пастушонки подбросили в костёр нового хвороста, и искорки весело начали скакать по сухим веткам, повёл такую речь о гномах:

— В древности мы назывались не гномы, а «Божие», по старинному произношению «Богие». Тогда мы жили не под землёй, не под скалами, не под корнями старых деревьев, как живём теперь, а в селениях, размещались в хатах, вместе с людьми. Давно это было, очень давно. Над этой страной ещё царствовал Лех, который основал город Гнезно на том месте, где нашёл гнёзда белых птиц. Он так и сказал себе: «Как птицы живут здесь в безопасности, так и земля эта должна быть тихой и доброй».

«Она и была такой.

Об этих птицах люди говорят, что то были орлы; но в наших старых книгах значится, что то были аисты, бродившие по луговым равнинам, — они-то и понаделали там множество гнёзд. Как было, так и было, достаточно того, что вся эта страна начала вызываться Лехиею от имени короля Леха, а народ, который проживал здесь, тоже принял название лехитов, хотя соседи называли его так же и поляками, потому что он состоял из полевых пахарей и ходил за плугом. Всё это в наших книгах значится за печатью».

— А разве бору тогда не было? — тоненьким голоском спросил Юзик. — Ни рек, ничего не было?

— Ну, вот! — ответил Чепухинский-Вздорный. — Бор был, да не такой как теперь, а громаднейшая пуща, почти бесконечная. А в пуще жили звери огромные и свирепые и рычали они так, что деревья, которые послабее, так и лопались от страха. Но мы, гномы, знаем только о медведях. Помню, прадед моего прапрадеда рассказывал мне: один такой медведь как-то выгнал его вместе с пчёлами из липового дупла да так половину зимы и продержал его при себе, целые дни и ночи заставлял рассказывать себе сказки, а сам только сосал лапу и дремал в берлоге. Только когда хватил сильный мороз, а медведь заснул крепким сном, прадед моего прапрадеда убежал из этой пущи и после семилетнего странствования вернулся к своим.

Дети смеялись, слушая это приключение, а Чепухинский-Вздорный продолжал так:

— Эх! Эх!.. И были же времена!.. Над полями, над водами шумели тогда липовые леса, а в них жил один старый-престарый божок по имени Святovid, который смотрел на три стороны света и имел попечение надо всем этим краем.

«Но что касается домов, хозяйства и пожитков, то это оберегали Божие, которых называли ещё и «Малышами», за их незначительный рост.

«В каждой хате свой Малыш», — говорил народ в те времена, да и нам было хорошо и весело, потому что мы помогали нашим хозяевам при всякой работе. Мы то коням овёс сыпали и обдуживали от сора всякое зёрнышко, чтобы оно одно к одному золотилось, то солому перетряхивали, то кур в курятник загоняли, чтобы они не теряли яиц в крапиве, то масло сбивали, то сыры выжимали, то детей качали, то пряжу мотали, то огонь раздували, чтобы каша варилась поскорей. Как только представлялась работа в хате или на дворе, мы за каждую охотно хватались. Правду сказать, и о нас не забывали, если не хозяин, то, по крайней мере, хозяйка. В светлице всегда на краю лавки лежали крошки хлеба и творога, в чашке всегда немножко мёду или молока. Жить было чем. Когда хозяйка выходила в огород полоть или с серпом в поле, то, бывало, обернётся на пороге, достанет из мешка горсточку проса, рассыплет по избе, скажет: «Помните, Божие, о детях и о хате... а вот вам за это проса».

И затем спокойно идёт на работу. А мы шмыг из-под печки, шмыг из-под лавки, шмыг из-под раскрашенного сундука. И сейчас же, бывало, начнём хозяйничать в избе, детям сказки рассказывать, мальчикам лошадок строгать, девочкам ленты вить, косички заплетать.

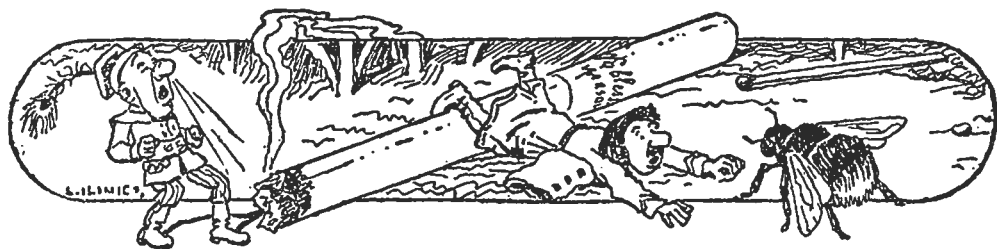
Бывало, все стёкла в окошках перетрём, солнышко сквозь них в хату впустим и разнесём его золотой свет по всем уголкам, чтобы всё кругом светилось и благоухало.

Работы, правда, было немало, а благодарности людской, пожалуй, ещё больше. Ни помолвки, ни рукобיתья не обходились без того, чтобы нас хозяева не приглашали: «Милости просим пожаловать в гости на жареную лосину, на оленину, на курочку-попрыгушку, на крупитчатые калачи».

Ну, мы, конечно, среди гостей не толкались, никого не стесняли, потому что мы хотя и малый народ, а всегда бывали политичны. Но когда мы начинали, один и другой, пятый и десятый, играть на гусях, под окном ли, под порогом ли, то, бывало, люди нас слушаться не могли нашего оркестра, — радость шла от него, такое веселье!

Эх! Эх! Где эти времена, где?»





IV



становился Чепухинский-Вздорный и медленно попыхивал трубкой, а дети всматривались в него, слушали и ничего не говорили. После короткого молчания учёный муж начал опять:

— Долго ли так было, не знаю, потому что об этом ничего в наших книгах не говорится. Но потом времена начали изменяться. Не стало добрых панов из рода Леха, а новые всё дрались друг с другом, потому что их было чуть ли не двенадцать. Наконец народу свары эти надоели, он всех этих драчунов прогнал вон и снова избрал одного господина.

«Ну, успокоился немного этот край, но едва солнце засветило над ним, как опять подошла буря.

Как саранча сваливается на хлебные всходы, чтобы уничтожить их до последней былинки, так на эти лехитские поля свалились немцы, а их князь возжелал силой взять нашу владетельницу и сам царить над нами. Я говорю: нашу, потому что мы хотя были только «Божие», но в те древние благословенные времена всё было едино, и мы с людьми держались как братья.

А владетельница наша, однако, не хотела немца».

— Я знаю! — тоненьким голоском вдруг крикнула Кася Бальцеровна. — То была Ванда!

— И я знаю! — ещё тоньше запищала Зося Ковальчанка.

И девчонки затаили, стараясь одна перекрычить другую:

«Не хотела Ванда немца...»

Чепухинский-Вздорный покачал на это головой и сказал с улыбкой:

— Именно, не хотела!.. Знаю! Знаю!.. Вся эта песня и в наших книгах значится. Ведь это мы с незапамятных времён заставляем деревенских ребятишек заучивать её наизусть. Как же!.. Я сам научил человек сто. А вас кто выучил?

— А мы не знаем.

— Ну тогда, конечно, я. Кажется ли вам, что иной раз в воздухе что-то говорит или поёт?

— Правда, бывает! — ответили мальчишки важно.

— Так знайте же, что это гномы так разговаривают и распевают. А так как ростом они невелики, то их и не видно, если они попрятчутся в хлебах, или в луговых травах, или в листьях лесных деревьев, или залезут вот под такой полевой камень.

«Ну, хорошо!.. Так как госпожа не хотела немца, то началась война. Сейчас же в этот край слетелись вороны и коршуны, сейчас же завыли волки, сейчас же небо облеклось чёрными тучами.

Мы тоже начали голодать, потому что и хлеб, и сыр — всё шло тем воинам, которые бились с немцами. Отощал весь край, отощали с ним вместе и «Божие». А у нашей госпожи сердце так преисполнилось скорбью, что из-за неё страдает весь народ, что она бросилась в реку, в Вислу, и тотчас же утонула. И только тогда немцы ушли прочь, и у нас воцарилось спокойствие.

Но времена так изменились за эту войну, что просто страх! Брат изменнически стал подстергать брата, сильный стал обижать слабого, скупец запахивал полосу сиротского поля. А так как там, где царит несправедливость и льются сиротские слёзы, счастья быть не может, то появились и у нас дурные владыки, которые назывались попелями».

— Ведь одного из этих попелей съели мыши? — спросил Юзик Срокач.

Чепухинский-Вздорный выпустил дымок из трубки.

— Об этих мышах говорят разное, — и так, и этак. Старые это времена, и никто не знает верно, как это было. Но в наших книгах стоит, что то не мыши были, а, собственно говоря, «Божие», которые (потому что зима стояла очень суровая) переоделись в мышиные шкурки, и, видя, как попель нехорошо царствует, толпой набросились на него из мышьих норок и искутали его насмерть.





«Так стоит в наших книгах. Правда ли это, неправда ли — трудно сказать. Но мой прапрадед сам рассказывал мне, что, прежде чем он ослеп от преклонной старости, он однажды видел мрачное озеро, а над ним суровую башню, где, должно быть, это и случилось, потому что эта башня и до сих пор называется Мышиной. А озеро зовётся Гопло.

Ну, хорошо!...»

Трубочка учёного мужа угасла, и он начал искать в пепле уголёк, а когда нашёл его, то потянул раза два из чубука, потом выпустил клуб дыма и продолжал так:

— В наших старых книгах следующий недостаток:

«То двух листков нет, то попадают такие бледные и полинялые, что ни за что не разберёшь написанного, то идёт толстая чёрная полоса вдоль или поперёк листа, — значит, и не всё узнать можно, что кем-то и когда-то было занесено в книгу.

Но, вообще, хорошие были времена или плохие, — это сейчас узнать можно. Если хорошие, то от этих страниц, хотя бы и от самых старых, струится такой свет, как будто солнце взошло на небо, а коли плохие, то таким мраком от них веет, как от тёмной ночи, когда над землёй не увидишь ни звёзд, ни месяца...

Вот каковы старые книги гномов!...»





V



— Хотите знать, что было дальше? — спросил Чепухинский, вновь запалив свою трубочку.

— Хотим, хотим! — закричали девчонки.

— Ну, так слушайте. После тех чёрных страниц о попеде тотчас же идут светлые страницы о Пясте... О Пясте я мог бы рассказывать целые часы.

У Юзика заискрились глаза.

— Тогда говорите, пожалуйста!

— Говорите, миленький! Рассказывайте всё, что знаете! — впереводку кричали дети.

Чепухинский-Вздорный откинул с головы капюшон, почесал лысину и заговорил так:

— Сам по себе я немного знаю, потому что в то время меня ещё не было на свете, но один старый Малыш, который исписывал эти страницы, был знаком с ещё более старым дубом. Вот этот-то дуб хорошо помнил всю историю, и хотя голос его был уже слаб, но когда он начинал шуметь о Пясте, то во всей пуще воцарялась такая тишина, что как будто всё вокруг замирало. И сосны, и ели, и грабы, и буки, и берёзы, даже травинки и папоротники так внимательно слушали, что ни один листок, ни один стебелёк не осмелится перевести дыхания.

«А почтенный дуб шумел, потихонечку шумел, откуда-то из самого сердца извлекаая тихие звуки и припоминая давние времена своей молодости.

Так вот тот Малыш, который в то время был не больше синицы, усаживался тогда под одним грибом, с которым свёл знакомство, и всю эту историю заучил так, что потом занёс в наши книги.

Дело было так:

Стоял себе этот дуб, тогда ещё молодой дубок, в тихой дубраве, а недалеко от него, среди тени лип и пчелиного жужжания, стояла светлая хата, построенная из лиственницы. В хате жило трое людей: Пяст, Ржепиха и сынок их, которого называли Земовит, потому что он ужасно любил свои поля, а когда выходил на порог хаты, то говорил: «Земля, здравствуй!»

И дуб каждый день видел трудовую жизнь этих троих людей, их милостивые сердца и души, настолько чистые, как будто у каждого из них в груди был белый голубь.

Но и «Божие» жили в хате из лиственницы, и хорошо им было, потому что и отец, и сын, и мать, чем могли, тем и угощали их, — то золотым мёдом, то сдобным калачом, а то самым лучшим творогом, потому что благодаря безустанному труду дом их был богат и обилён всяким добром.

И в королевском дворце гномам не могло бы быть лучше, чем в тихой, светлой хате, пахнущей смолой.

Но пришло время, когда сынку в первый раз нужно было остричь золотые волосы. Сейчас же начали сходиться и съезжаться соседи, кто пешком, кто на телеге, кто на верховом коне, так что в усадьбе Пяста сделалось очень шумно.

Суетился Пяст, суетилась Ржепиха, чтобы угостить гостей и угодить им, но и домовые «Божие» усердно помогали целый день. И вот, когда солнце начало заходить, в воздухе раздалось такое чудное пение, что люди поднимали глаза к небу, думая, что эти голоса идут оттуда.

Одни только «Божие» вдруг побледнели и задрожали, как будто на них повеял холодный ветер, хотя погода была летняя.

Кто бежал с какой-нибудь услугой, тот так и останавливался, трясась всем телом, так что зубы его стучали друг о друга.

Тем временем с западной стороны в ярком блеске зари показались два каких-то светлых путника, которые, именно, и направлялись к Пястовой хате с этим пением.

А пение это было так громко и сладостно, точно все соловьи запели в садовых тополях, и как будто все капли росы зазвучали



на травах и полевых цветах, и как будто все липы на Пястовой пасеке зашумели мелкими листочками, и все былинки издали серебряный звучный голос.

И пели два ясных путника, что над этим краем одно время кончается, а начинается другое. Они пели, как погибнут и в прах рассыплются прежние боги, которым люди молились в святых лесах, а на их место придёт Господь великий, мощный, Господь неба и земли.

И люди слушали это пение, и лица всех озарили сила и надежда.

Но «Божие», опомнившись от первого страха, собрались в самом тёмном уголке Пястовской каморки, все съёжились и дрожали, как дрожат осенью листья, когда им уже пора падать. С дедовских и прадедовских времён им уже было предсказано, что такая песнь явится с западной стороны, и будет она гласить о великом и мощном Господине, о Господине неба и земли, а когда они услышат её, то это будет значить, что они должны идти из хаты, куда глаза глядят, и уступить место ясным, крылатым духам.

Напрасно Ржепиха насыпала им маку, накрошила сладкого калача. «Божие», хотя и были голодны, не вышли из своего уголка, не воспользовались этим даром. Один только старейший Малыш на минуту приоткрыл дверь каморки и заглянул сквозь щёлку в светлицу. Но он тотчас же закрыл руками глаза, потому что от одежды путешественников струился такой свет, как будто в светлицу заглянуло само солнце.

Много дней, много ночей просидели «Божие» в каморке, в холоде и в голоде, пока тот великий свет не угас, и пока не утихла песнь, звучащая в воздухе над хатой.

Когда они наконец осмелились переступить через порог и хотели по-прежнему служить хозяевам, то увидали, как Пяст в золотистой мантии, накинутой поверх его обычного белого сермяжного одеяния,



в ясной короне, вступал на трон, чтоб царствовать по-королевски, а там ему должны были служить рыцари и дворяне.

Ржепиха тоже стала королевой, а маленький Земовит — королевичем. И так кончилась мужицкая жизнь в хате, и началось царствование в замке.

«Божие» всё-таки по-прежнему присматривали за пряжей, за полем и пасекой, не желая оставлять места милого поселения, где они столько лет жили так спокойно и счастливо.

Но в них уже не было прежней ловкости и силы. Пястовский ключник ставил им на краю скамьи то молока, то мёда, как делала и Ржепиха, но «Божие» уже не смели прикоснуться к этой еде, потому что чувствовали, что работа их уже не прежняя и что помощь от них плохая. И вот они собирали с пола только то, что падало со стола, и похудели так, так почернели, что вместо «Божиих», «Богих», по старинному произношению, люди начали называть их «убогими».

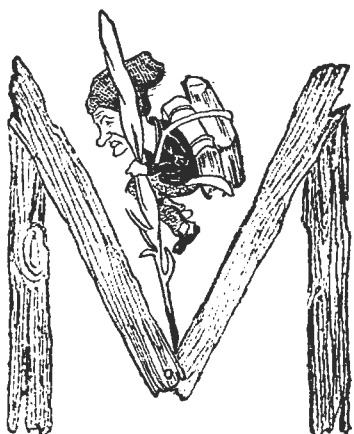
Тем временем по всему краю разошлось эхо чудной песни, а когда вечерняя заря загоралась на западной стороне, в воздухе что-то начинало играть и петь словно как на серебряной лире, а были и такие люди, которые могли разобрать и слова этой песни.

«...Идёт Господь могучий и великий...
...Идёт Господин неба и земли...»

Но чтобы это слышать, нужно было иметь сердце такое же чистое, как утренняя заря.

Вот что шумел, вот что рассказывал вековой дуб, вот к чему прислушивалась затаившая дыхание пуща».





VI

олчал Чепухинский-Вздорный, а дети тоже сидели тихо, — им всё казалось, что в лесном шуме они слышат голос старого дуба. И только спустя минуту отозвался Юзик Срокач:

— А с «Божиими» что случилось?

Но так как Чепухинский-Вздорный молчал, задумавшись над старыми временами, то дети начали дёргать его за плащ и кричали, перебивая один другого:

— Говорите же, господин гном, говорите! Что случилось потом с «Божиими»?

Тогда учёный муж очнулся от своего оцепенения и так повёл речь дальше:

— «Убогие» ещё долго жили с людьми в их хатах и деревнях, но становились всё более и более грустными, слабыми и маленькими. Да уж и люди не так часто стали призывать их на помощь. Ещё пока был жив Пяст, их никто не обижал, и во время царствования сына его Земовита «убогие» ещё имели свой угол в каждой хате. И только когда воцарился внук Земовита Мешко, то на этот народец пошло такое гонение, что даже и самый смелый не отваживался показываться наружу днём и только в сумерки выползал из уголка, чтобы подкрепиться чем-нибудь.

«В то время матери, уходящие в поле на работу, не бросали «убогим» проса, чтобы те присматривали за их детьми, а творили

над хатой крестное знамение и шли только после этого. А как запирались двери, хата наполнялась светом, пением и шумом ангельских крыльев, и за детьми стали уже присматривать ангелы.

Тогда у «убогих» осталась только самая чёрная работа, в конюшне, в хлеву, в сарае, а в хате только то, чтобы нащепать лучины, перемыть горшки и смести сор в угол.

Но однажды, как значится в наших старых книгах, начали звонить колокола с церковных башен.

По всему краю пошёл громкий гул, словно гром небесный, а куда он достигал, там «убогие» тотчас же толпами выходили из хат, из деревень, плача и жалобно прощаясь с людскими поселениями. Потом они рассыпались по лесам, по горам, по пустыням, куда не долетал голос колоколов.

С тех пор люди больше уже не видят их, разве только ночью, а днём могут увидеть лишь маленькие дети, вот как вы видите меня. Большая часть из них пошла в Карпатские горы оберегать подземные сокровища. В лесах их тоже довольно. А так как зима в лесу бывает сурова, то они соорудили себе плащи и капюшоны, по большей части красного цвета, по чему их легко узнать и с чего пошло их новое прозвище: «краснолюдки». Сердца их и теперь расположены к людям: за крошку пищи, за каплю молока они всегда с радостью присматривают за достоянием доброго человека. Но когда они услышат голос колоколов, то сейчас же должны скрываться под землю... Перед великим, могучим Господином, перед Господом неба и земли...»

Этимися словами Чепухинский-Вздорный закончил свой рассказ и в знак почтения снял с головы капюшон, когда со стороны леса послышался говор множества голосов.

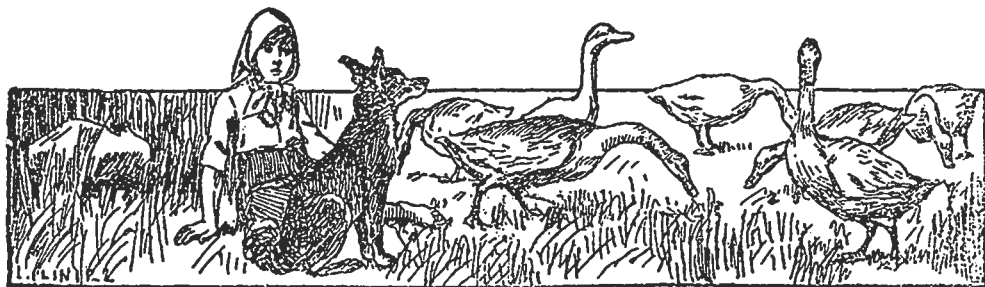
То бабы и дети возвращались с похода на лиса. Возвращение это, однако, не носило признаков торжества. Мудрый лис обладал не одним выходом из норы, и, прежде чем люди докопались до одного, он ускользнул в другой и скрылся в поле, или спрятался между кустами терновника и не оставил ни малейшего следа.

Теперь бабы громко жаловались, что потеряли понапрасну время, а дети скликали вякающих собак, которые бегали около леса и отыскивали следы лиса.

При этом крике и лае пастушонки подняли головы и засмотрелись и заслушались так, что совсем забыли о краснолюдках.

Тогда Чепухинский-Вздорный встал, надвинул капюшон на голову и, опустившись в ближайшую борозду, скрылся в прошлогодних травах так, что ни Зоська, ни Кася, ни Стах, ни Юзик, ни Куба Кшеменец и сами не могли сказать себе наверное, приснилось ли им это только или действительно гном сидел в поле у их костра и рассказывал им чудесную сказку.





VII



ем временем Чепухинский-Вздорный, тайком пробравшись к бору, шёл по лесной глуши почти в полном мраке. Хотя на белом свете стоял ещё ясный день, здесь от елей и сосен падала такая глубокая тень, что трудно было найти какую-нибудь тропинку.

И вот Чепухинский-Вздорный шёл наугад, может быть, час, а может быть, и больше. Это путешествие уже начинало надоедать ему, к тому же и голод снова заявил о себе, когда он, нечаянно споткнувшись, попал в какую-то глубокую яму.

В яме той жил лис Обьедало, славный во всей околице куроцап, — именно тот самый, на которого бабы учинили неудачный поход.

Теперь он сидел в углу своей ямы и кончал обглаживать жирного каплуна, перья которого валялись и там, и здесь на полу.

Когда Обьедало увидал свалившегося Чепухинского, то сейчас же прервал свой пир, копнул лапой один раз, копнул другой, бросил враскоряку выкопанную ямку кости, прикрыл их землёй и смотрит.

Чепухинский-Вздорный показался ему очень смешным, когда он, проделывая преуморительные прыжки, старался сохранить равновесие; но хитрый Обьедало не показал ни малейшего вида и, скромно опустив хвост, пошёл навстречу гостю.

— Вы, как я вижу, вероятно, ошиблись дверью, — сладко сказал он.

— Несомненно, — ответил Чепухинский-Вздорный. — Тут немного темновато, и я не заметил настоящего входа. Притом глаза у меня ослабели от долголетних занятий над моим великим историческим произведением.

— Ах! — с восторгом воскликнул Обьедало. — Значит, я имею великую честь приветствовать учёного и коллегу! И моя жизнь проходит в общении с книгами! И я пишу обширнейшее произведение о развитии в деревнях куроводства и голубеводства и даже предлагаю проект нового способа постройки курятников для домашней птицы. Вот и перья, которые служат мне в моей работе.

Тут скромным жестом он указал на разбросанные повсюду перья только что задушенного им каплуна.

Изумился учёный муж Чепухинский-Вздорный.

Если он единственным пером серой гусыни приобрёл такую великую славу у своего народа, то каким же знаменитым должен быть тот, который исписал целые пучки таких прекрасных, золотистых перьев!

Но Обьедало сказал:

— А вы, дорогой коллега, откуда взяли это чудесное перо и где пребывает то очаровательное создание, от которого оно происходит? Я желал бы свести с ним самое ближайшее знакомство.

— Это перо, — ответил Чепухинский-Вздорный, — происходит из крыла гусыни, которую вместе со всем стадом пасёт сиротка Марыся.

— Со всем стадом? — повторил восхищённый Обьедало. — И вы, дорогой коллега, говорите, что его пасёт маленькая сиротка? Маленькая сиротка, которая, должно быть, и справиться с этим стадом не может? О, как бы я охотно помог ей! Как бы я охотно облегчил труд этой заинтересовавшей меня бедной сиротки! Нужно вам сказать, дорогой коллега, что у меня очень жалостливое сердце, очень жалостливое! Просто-напросто, оно мягко, как майское сливочное масло.

Тут он, в свидетельство искренности своих слов, ударил себя лапой в грудь, ещё более приблизился к учёному Чепухинскому-Вздорному, долгое время обнюхивал гусиное перо, потом отёр глаза и сказал:

— Дорогой мой, не удивляйтесь моему волнению! В эту минуту я слышу, как во мне отзывается голос моего долга: исправлять заблудившихся гусят — вот моё призвание! Помогать сироткам пасти их — вот великая цель моей жизни!

И тотчас же, подняв кверху обе передние лапы, он воскликнул:

— О, вы, невинные существа! О, вы, кроткие, милые творения! Отныне я всецело посвящаю себя на служение вам!

Сказав это, он тотчас же направился к выходу из ямы и вышел наружу, а за ним по длинному и тёмному коридору следовал Чепухинский-Вздорный.

Несколько минут они шли вместе по дороге, но потом лис обернулся и сказал:

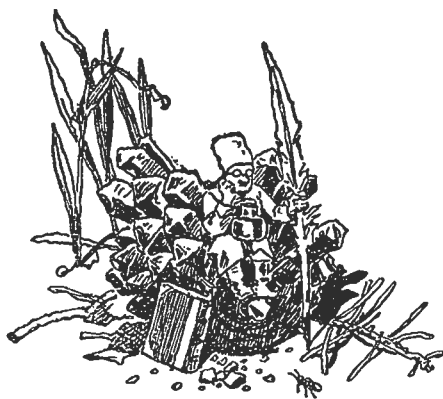
— Прошу вас, дорогой коллега, не забудьте занести в вашу ценную книгу сегодняшнее наше свидание. Только никаких похвал, никаких фимиамов мне! Просто напишите, что встретили великого друга человечества по имени Обьедало, — об имени не забудьте, усерднейше вас умоляю! — великого учёного, автора множества произведений, лиса совершенно исключительной натуры, достойного наивысшего доверия как гусиных пастухов, так и всех собственников кур и уток. Вы понимаете, дорогой коллега, что врождённая скромность не позволяет мне особенно широко распространяться о собственных добродетелях, — я ограничусь только коротким намёком, предоставляя остальное вашей догадливости.

Они обнялись, как братья, и пошли дальше.

В подземелье начинал проникать свет, всё более ясный и румяный, а вместе с ним и тепло.

Но когда они дошли до выдолбленного пня, который служил выходом наружу, лис сделал прыжок, крикнул спутнику «до свидания» и скрылся в густых зарослях.

Чепухинского-Вздорного охватило благоухание влажных мхов и свежепрямой травы. Чувствуя, что у него в голове начинает кружиться, он сел на прошлогоднюю еловую шишку и отдохнул с минуту перед дальнейшим путешествием, обрадованный тем, что судьба позволила ему познакомиться с таким достойным зверем.





VIII



идит себе учёный Чепухинский-Вздорный на шишке, смотрит — идёт мужик.

Топор на плече, полушубок внакидку, лапти, круглая высокая шапка, посконный мешок на тесёмке — дровосек как дровосек. Идёт он в лес, на небо смотрит, но, видно, ему весело, потому что он посвистывает.

И думает Чепухинский:

«А что, если мне спросить у этого крестьянина, пришла ли весна?»

Но, гордый своей мудростью, он тотчас же отверг это предположение:

«Непристойно учёному мужу набираться ума-разума у первого встречного крестьянина».

А дровосек шёл как раз мимо него. Посмотрел он в сторону и видит, что на еловой шишке что-то торчит да такое надутое, что издали кажется чуть не шаром. Подумал дровосек, что это дождевик, толкнул его ногой и пошёл дальше. Но хотя лапоть едва-едва коснулся Чепухинского, учёный муж перекувырнулся и скатился вместе с шишкой в какую-то ямку. К счастью ещё, что его чернильница была крепка и хорошо закупорена.

Очутившись в ямке, достойный летописец сел, ощупал помятые рёбра, удостоверился, что они целы, поморщился и сплюнул на сторону.

— Тьфу, гадость какая! Мерзкий мужлан! А я ещё хотел вступить в разговор с таким неучем. Нечего сказать, хорош выбор! Нет, за это дело нужно взяться другим манером.

Он потёр пальцем свой длинный нос и начал думать, потом ударил себя по лбу и сказал:

— Как же я могу знать, пришла ли весна или нет, если я не знаю её пути по земному шару.

И он начал внимательно осматриваться, из чего бы сделать земной шар и обозначить на нём путь весны.

Вдруг смотрит он, — по тропинке идёт ёж, распустил щетину, высунул мордочку и несёт яблоко. Чепухинский очень обрадовался, любезно поздоровался с ежом и попросил у него яблоко. Ёж испугался, — что это за маленький человечек, — тем более, совесть у него была нечиста, потому что это яблоко он стащил ночью у одной хозяйки и теперь нёс его в свою ямку. Свернулся ёж в клубок и скатился с горки.

— Постойте! Постойте! Подождите! — крикнул ему вслед Чепухинский. — Я только определяю на этом яблоке путь весны и тотчас же отдам вам его назад.

Но ёж уже исчез в густой мгле.

— Вот глупый зверь! — сказал самому себе Чепухинский-Вздорный. — Исчез вместе с таким прекрасным земным шаром. Что теперь делать? Нужно придумать какой-нибудь другой.

И он двинулся в путь, перескакивая через камни и рвы.

Наконец он нашёл кусочек извёстки, слепил из неё шар, вкатил его на ближайший пригорок, еловой хвоей начал рисовать на этом шаре материки, моря, горы — одним словом, нарисовал весь свет, надел большие очки и начал разыскивать путь весны.

Но мгла спустилась с горки в долину, с минуту помаячила над ней, словно белое покрывало, заволокла лесную опушку голубоватым, лёгким паром и расплылась по оврагам, а луга и поля, леса и дубравы предстали в золотом свете солнца.

А тогда с южного склона пригорка спустилась прекрасная девушка, высоко поднятыми руками благословляя всю землю. Из-под её обнажённых стоп тут же появлялись фиалки и маргаритки; она шла тихая и спокойная, а вокруг неё звучали песни птиц, трепещущих крыльями; цвет лица её был тёмный, как бывает темна только



что вспаханная земля, а где она проходила, там пробуждались радуги и краски; глаза её были опущены долу, а из-под её ресниц струился голубой свет.

То была весна.

Она проходила так близко от Чепухинского, что зацепила его своей льняной одеждой, обвеянной тёплым дуновением ветра; и тотчас возле него заблагоухали фиалки, целым пучком вплетённые в её светлые волосы. Но учёный летописец настолько был занят вычислениями, как, когда и с которой стороны весна должна прийти на свет, что совершенно не заметил появления самой весны. Он только потянул своим длинным носом летучий, благовонный запах фиалок и, склонившись над большой книгой, тщательно записывал всё, что выходило по его расчётам.

А расчёты его были таковы, что весна вовсе не появится на свете, что она потеряла дорогу, осталась за морем и в здешние края уже не вернётся. По его расчётам выходило так, что жаворонки и соловьи петь не будут, потому что они совсем охрипли, что единственной песней на свете будет карканье ворон, что вихрь унёс в неизмеримые пропасти все семена цветов, что теперь уже не зацветёт ни роза, ни лилия, ни дикая яблоня. По его расчётам выходило точно также и то, что заря угасла, что солнце совсем почернело, что дни обратились в ночи, а поля, вместо трав и хлебов, покроются вечными снегами.

Он писал эти слова, окружённый облаками дыма, которые выходили из его трубки, преисполненный гордости, какой он мудрец и какой пророк, а тут на пригорок прилетели три огромнейших, черновато-золотистых жука, все косматые, и начали сновать в голубом воздухе, избрав себе целью светящуюся лысину Чепухинского-Вздорного. Облетели они его раз, другой и третий, гудя громким басом, но учёный, углубившийся в свою книгу, не замечал их.

И вот, именно в ту самую минуту, когда он ставил точку в конце своего пророчества, что-то хлоп его в лысину раз! Хлоп в другой! Хлоп в третий раз, в четвёртый, в десятый!..

Крикнул Чепухинский-Вздорный истошным голосом, думая, что весь мир разрушается, выпустил из губ трубку, бросил перо и отпрыгнул в сторону, причём опрокинул на книгу всю свою объёмистую чернильницу.

Чёрные потоки полились прямо на только что исписанные страницы. Чепухинский-Вздорный почти окаменел.

Все пророчества его пропали, расчёты его все пропали.

Вся книга залита рекой чернил.

Что он сделает теперь? С чем возвратится к королю?..

Он так мудро, так прекрасно рассчитал всё, — и всё пошло прахом!

Заломил руки несчастный летописец, потому что от неожиданного страха вся мудрость покинула его. Теперь он уже и в самом деле не знал, пришла ли весна или не пришла.

И он стоял на одном месте до полудня, стоял до вечера.

Сквозь вечернюю зарю начали просвечивать звёзды, запах цветов доносился с полей и лугов, прекрасная девушка доходила уже до края леса, а под её обнажённой стопой расцвёл первый ландыш.



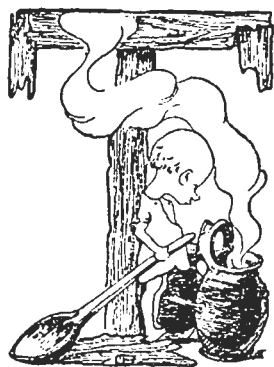


Приключения Подзёмка





I



ем временем в Хрустальной пещере у гномов запасы еды так исчерпались, что на каждого краснотелка в течение дня выдавали только по три горошины. Из этого, конечно, выходили разные ссоры и даже драки, как обыкновенно это бывает везде, где голодно и холодно.

Не было дня, чтобы в пещере не произошла какая-нибудь скверная история.

То Божья Коровка поссорится с Подберёзником, то Соломинка с Дождевиком, до тех пор, пока Микула и Пакула, которые в пещере исполняли обязанности стражников, не забирали всю ссорящуюся компанию в кутузку.

Но больше всех в эти тяжёлые времена бушевал и буянил Подзёмок. Ел он за четверых и всё-таки постоянно жаловался, что голоден.

Этот Подзёмок когда-то имел совсем особенного сорта приключение.

Нужно сказать, что гномы не всегда сидят под землёй. Они охотно живут в деревнях то под печуркой, то под порогом хаты, а где хозяйка невнимательно смотрит за своим добром, где горшки не накрыты, сор не выметен, пряжа лежит, как попало, сыр в пору не отжат, помои не вынесены, домашней птице корму не выдаётся, — то проказники-гномы набросают мух в борщ, сор выметут из углов на середину комнаты, перепутают нитки на моталке, кур выпустят из клетки, лоханку опрокинут, — сколько могут, столько и натворят бед, и опять под печурку.

Когда хозяйка оставит своего ребёнка в колыбели, а сама побежит к соседке посплетничать, гномы тотчас же подменяют ребёнка,

подбросят своего, а крестьянского стащат и потом заставят его служить себе.

Такой подкидыш-гном не растёт, только голова его становится всё больше и тяжелей, а есть он такой охотник, что его ничем нельзя насытить.

У одной бабы был однажды в деревне маленький сынок, Ясько. Хорошенький был мальчик.

Волосики, точно лён, глазёнки, как чабер, губы, как земляничная ягода. И здоровый был, и весёлый точно рыба в воде. Плакал он редко и, хоть прожил на свете не более полугода, улыбался матери, протягивая ей ручонки и болтал, словно малый птенец.

Но мать редко когда сидела с ним, — чуть что, так сейчас к соседкам язык чесать. Там постоит, там посидит, а как заболтается, так и о горшках немых, и о белье невыстиранном, обо всём позабудет, даже о Яське.

Пришли однажды гномы в хату, смотрят — дверь настежь, хозяйки нету, в углах роются поросята, а ребёнок плачет в колыбели.

Тотчас же они схватили его, унесли в своё подземелье, а в колыбель положили своего Подзёмка, чисто-начисто выбривши ему бороду.

Приходит мать, смотрит, что такое за ребёнок? Голова, как дыня, лицо всё в морщинах, глаза навывкате, а ноги короткие словно у утёнка.

Испугалась баба.

— Тьфу! Чур меня! — говорит она и протирает глаза, думая, что это ей только показалось.

А тот как крикнет:

— Есть!

— Ясько! — говорит мать. — Ясько! — а он только смотрит на неё исподлобья и кричит: «Есть и есть».

Накормила его баба, укачала, думает: «Спать будет». Не тут-то было! Отойдёт она на шаг от колыбели, а он в крик: «Есть и есть!»

И так до вечера раз десять. Помутилось у бабы в голове: что такое случилось с ребёнком? Отчего он сделался таким ненасытным, и догадаться не может. Вложила ему в одну руку ломоть хлеба, в другую — морковь, — ну, заснул наконец.

Зато наутро, чуть свет, то же самое: «Есть и есть!»

«Что тебя, волк, что ли, сглазил, что ты наешься не можешь, — думала баба, кормя его и вместе с тем дивясь, — что за перемена

такая? До сих пор Ясько ел столько, что и воробью бы не хватило, а теперь вечно голоден».

Оставалось одно только, — стой возле его колыбели и вечно суй ему что-нибудь в рот. Жрёт, как старый, глаза таращит, как жаба, совсем не такой, каким был раньше.

Так прошло несколько дней, прошла неделя. Тут баба начала замечать: что она ни оставит в горшке, — клёцки ли, варёный горох ли, — а выйдет из хаты, сейчас всё это кто-то съедает.

— Что такое это здесь творится? — говорит баба, и от удивления у неё ум за разум заходит.

Подумала она, что это делает кот. Побила кота, заперла его в чулан, а сама ушла. Возвращается — в горшках пусто, кастрюля вылизана, от сметаны следа не осталось.

Идёт она в чулан, смотрит: кот сидит, как и сидел, и отчаянно мяукает. Бока у него даже ввалились — такой голодный. Видит баба, что это не кот, — должно быть Кручек.



А при хате находился чёрный щенок, которого Кручком величали. И баба ну валять его палкой. Щенок визжит, потому что боль в костях неносная, сени заперты, улизнуть некуда, а баба всё колотит его да ещё приговаривает: «Ни с места! Вот я тебя!» Вертится Кручек, пищит, рад бы сквозь землю провалиться, но тут баба сама умаялась и бросила палку. Бедный Кручек поджал хвост и, жалобно визжа, потащился в сарай и там до самого вечера лизал свои отбитые бока.

На другой день баба запирает и кота, и Кручка в чулан, ставит горшки в печку, а сама идёт к соседке.

Посидела она немного у соседки, поболтала, возвращается, а в хате чистое светопреставление!

Кот с Кручком в чулане грызутся так, что шерсть клочьями летит, а в хате печь открыта, горшки пусты, кастрюля со сметаной вылизана так, как будто её кто вымыл, и младенец в колыбели орёт, надсаживается.

От великого горя баба схватилась за голову, но тотчас же её взяла злость, она ударила кулаком о кулак и говорит:

— Подожди ты, нечестивое отродье! Уж угощу я тебя!

И в горестных мыслях она подошла к колыбели, потому что подкидыш всё заливался криком.

Кормит его бедная мать, а слёзы так и капают из её глаз, лишь только она посмотрит на ребёнка... Как изменился её Ясько! Прежде она сиживала с ним перед хатой на пороге, а всякий, кто проходил мимо, хвалил ребёнка, потому что другого такого не скоро сыщешь.

А теперь она его и показать людям не смеет — такое из него вышло страшилище.

Неулыбается уже он, не болтает, ручки к материнским кораллам не протягивает, лежит весь раздутый, сморщенный, лысый, словно старик какой-нибудь.

Расти тоже не растёт, только голова его становится всё больше и тяжелей, всё больше походит на дыню.

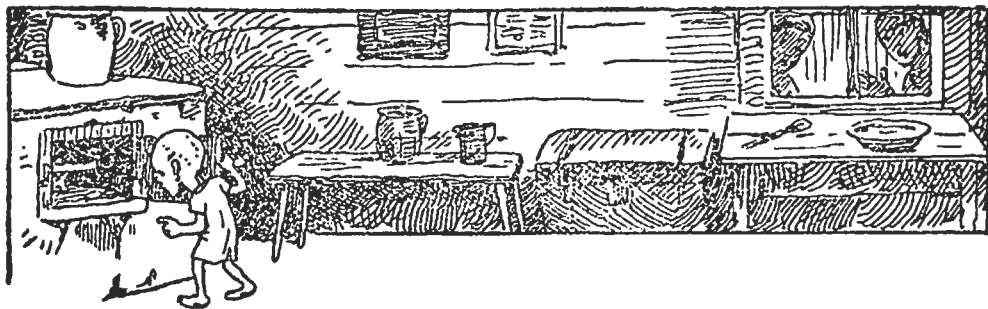
Сущее наказание!

Уж она пробовала умыть его от сглаза, бросала в воду три уголька, три кусочка хлеба, и в полынном отваре купала, и освящённой вербой окуривала — ничего не помогло.

А тут вдобавок такой убыток! Наготовит она еды на двух взрослых мужиков, а только что выйдет на минуту из хаты, то еды и на неё одну не останется.

— Ребёнок... Что ж с ним поделаешь, — говорила раз огорчённая баба, — попущение Божеское! Но что касается насчёт этого обжорства, то я не прощу! Что хочешь обещаешь мне — не прощу!





II



а другой день наварила баба горшок капусты, наварила горшок гороху, поджарила хороший кусок сала, вставила всё это в печь, закрыла её, взяла с собой кота и Кручка, накормила ребёнка и ушла.

Но ушла она недалеко, а только остановилась за углом и смотрит украдкой в окно.

Смотрит, а подкидыш поднимается со своей постели, садится в колыбели и осматривается по комнате, нет ли возле него кого-нибудь. Смотрит баба дальше, а он вылезает из колыбели, и — напрямик к печке. Подошёл, отодвинул заслонку, понюхал с видимым удовольствием, потому что ему понравился запах сала, и давай искать ложки. А ложки были заперты.

Неприятно ему было громоздиться к шкафу, но, тем не менее, он взобрался на сундук, выбрал самую большую ложку и полез с нею в горшки. Вытащил он из печки капусту, приправил её салом, прибавил гороху, а у самого даже уши трясутся.

Струсил баба, глядя на это, всплеснула руками и полетела к соседке за советом.

Прибежали они обе почти тотчас же — в горшках почти уже пусто, подкидыш же сопит, но есть не перестаёт.

Подчистил всю капусту, подчистил горох до конца, постукал ложкой в пустой горшок, наклонил кастрюлю, дочиста вылизал всё, что было, ходит по хате, словно старик, и в углы заглядывает.

Баба только зубы стиснула, но ничего — молчит.

А тот ходил, ходил и нашёл яйцо, которое курица снесла под кошёлкой, начал мотать головой и удивляться этому яйцу.

— Семьдесят семь лет живу я, — говорит он, — а ещё не видал такой бочки без обручей.

Соседка по его словам тотчас же узнала, что это гном.

— Делать тут нечего, — говорит она, — нужно призвать на помощь Бога, вырезать крепкую берёзовую ветку, выпороть этого подкидыша и бросить его в помойку. Когда он будет пищать в помойке, то гномы настоящего ребёнка возвратят назад, а этого урода возьмут к себе.

Бабе это пришлось по сердцу, и она начала стегать подкидыша. А через два дома от неё жила вдова Кукулина с маленькой дочкой Марысей.

Нужно же было так случиться, чтобы эта вдова взяла свою девчонку на руки и отправилась бы полоть на господское поле.

Слышит она чей-то крик у соседки, остановилась и думает:

«Бьют кого-нибудь, иначе и быть не может. Нужно идти заступиться».

А тут и её девчонка, которая и говорить-то не умела, начала хныкать от жалости, что кого-то обижают и кому-то делается так больно.

Посмотрела Кукулина на дорогу, посмотрела на солнце, которое уже сильно поднялось вверх. Не хотелось ей тратить время, потому что она была женщина работающая, но жалость всё-таки пересилила. Идёт она к соседке, а у той двери заперты.

— Соседка! — кричит она. — Кто это у вас так кричит?

Баба отвечает:

— Не ваше дело! Идите своей дорогой!

Но Кукулина не унимается:

— Соседка, мне сдаётся, что это ты так бьёшь своего Яську. Пожалей его, он ещё такой маленький!

Баба опять своё:

— Он, подкидыш, такой же мой, как тот злой ветер, который летает по полю.

— Хотя бы он и не ваш был, пожалейте его, больно тяжело такой крик слышать.

Тут Марыся начала ещё сильнее плакать.

Баба рассвирепела:

— Скажите на милость, какая милосердная!.. Защитница какая нашлась! Ступай, откуда пришла, в чужие двери носа не суй, потому что тебе прищемят его, вместе с твоей пискуньей!



Неприятно было Кукулине получить такой ответ, но, так как в хате всё смолкло, то она и думает:

«Ну, что на неё обижаться, благо, она смиростивилась. Мало ли чего человек в гневе не скажет, помнить этого не нужно. Хорошо, что там всё утихло».

И она пошла дальше.

Но и краснотелки услышали крик своего Подзёмка и говорят один другому:

— Нехорошо! Делать нечего, надо идти на выручку.

Не прошло и нескольких минут, как — дивное диво! — в хате из-под печки начали появляться маленькие человечки в жёлтых и зелёных епанчах, каждый в руках держит красную шапочку, низко кланяется бабе и просит, чтобы она выпустила на свободу их товарища, а они ей насыплют в передник столько талеров, сколько он выдержит.

Смягчилось у бабы сердце, когда она услышала о талерах, но соседка вдруг как крикнет у неё над ухом:

— Не пускай его на волю, кума, если в Бога веруешь, потому что они не отдадут твоего мальчонку, а талеры — пустое дело, ничего больше!

Баба послушалась и говорит:

— Марш отсюда! Мальчонку моего отдайте, а ваших талеров я не желаю! Убирайтесь один за другим, иначе всей компании достанется.

Гномы прижали уши. Один за другим шмыг под печку. А баба взяла Подзёмка за шиворот и — на помойку.

Защищал Подзёмок, словно котёнок, когда его выпустили из рук и бросили наземь, не столько от боли, сколько от страха, — потому что не знал, что с ним сделают.

Но в это время Кукулина повернулась лицом к хате, видит, — лежит бедняга на куче сора и плачет. Тотчас же она подошла к нему, отёрла ему глаза от слёз, ласково заговорила с ним, уделила ему кусочек хлеба из своего скудного завтрака, нарвала пригоршню свежей травы, подостлала под него, чтобы ему было сухо и чисто, а заметив, что солнце всё выше и выше поднимается по небу, отыскала возле рва большой лист лопуха и устроила ему палатку от зноя.

Подзёмок признательно посмотрел на вдову и, увидав, что Марыся захлопала ручонками, что ему так хорошо и чисто лежать на травке и под лопушиным листом, — улыбнулся ей и почувствовал великую сладость в сердце, великую благодарность и глубоко растрогался.

«Дай Бог расплатиться когда-нибудь с вами!» — шепнул он самому себе, когда Кукулина скрылась со своей девочкой.

Она хотела было взять его с собой, да не осмелилась... Всё-таки у него есть мать, а мать, известное дело, порой и розгой отстегает, а потом приласкает и на руки возьмёт...

Так думала Кукулина, а того и не знала, что гномы подменили ребёнка бабы и что это не её сынок, а гном-подкидыш.

Прошёл день. Вечером вышла баба посмотреть, что случилось, а Подзёмка и следа нет, — возле порога лежит её Ясько: волосы, как лён, глазёнки, словно чабер, губы, как лесная ягода!

Краснолюдки отнесли его бабе, а своего взяли обратно.

Вот была радость и утеха! Сделала баба яичницу из целого десятка яиц, пригласила соседку в гости, ещё и булку испекла, — вот как она благодарила её!

Потом Ясько обратился в видного парня, но всегда был дикий, от людей бегал, шатался по горам и по лесам, рассказывал, какие дивные дивы он видел под землёй, какие сокровища у этих маленьких людей. В деревне его за это считали дурачком, а словам его ни на каплю не верили, — так оно и осталось.

Тем временем Подзёмок быстро излечился от своих ран. Гномы знают разные зелья и чудодейственные мази. И как начали они облеплять его пластырями, окуривать, натирать то волчьими ягодами, то комариным салом, то паучиной жёлчью, так сразу и вылечили его.

Король же Огонёк любил Подзёмка, держал его у себя в милости и сострадательными очами взирает на его страдания от голода.

И Подзёмок также очень любил короля и часто сиживал у королевских стоп, то отогревая их своим дыханием, то наигрывая на свирели разные песенки, от которых в Хрустальной пещере становилось как будто теплее.

Но когда дело доходило до еды, то Подзёмок забывал обо всём, думал только о хлебе и никому не давал приступа ни к миске, ни к ложке. А если ему кто-нибудь противился, то он впадал в страшный гнев и готов был хоть один идти против целой дружины.

Однажды поднялся страшный шум.

Подзёмок напал на эконома за то, что ему, как и всем другим, отпустили на весь день только три зёрнышка гороха: и мало того, что сильно побил верного царского слугу, но ещё и сам пошёл жаловаться королю, что его обижают.

Король отпустил его ни с чем, сказав, что закон должен быть для всех одинаков, но Подзёмок ещё более начал кипятиться.

— Коли так, — говорит он, — коли для меня здесь нет справедливости, то я иду на землю. Там у всякой бабы я найду лучшее пропитание, чем здесь, за королевским столом.

Другие гномы со смехом ответили ему:

— Иди, иди, обжора! По крайней мере, одним ртом будет меньше в нынешние тяжёлые времена.

Они думали, что это одни лишь шутки, но Подзёмок сказал:

— Вот и увидите, что я пойду!

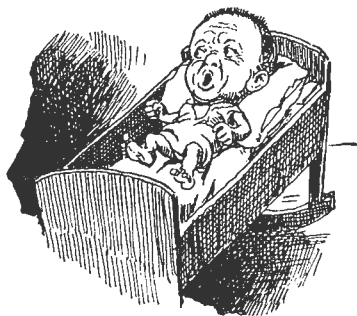
Гномы опять расхохотались:

— Да принеси нам весть о весне, коли ты такой храбрец!

Подзёмок стоял на своём:

— И увидите, что принесу!

Он подпоясался ремнём, сунул свирель за пазуху, поклонился королю, набил трубку и направился к выходу.





III



меркалось, когда Подзёмок, остановившись у отверстия пещеры, вздохнул и начал оглядываться по сторонам.

Налево всё было пусто и дико. Там стоял чёрный бор, на соснах каркали вороны, в ложбинах белел ещё не растаявший снег, мокрая хвоя тёмным ковром устилала землю, а от мрачной стены шумящих деревьев веяло влажным, пронзительным, острым дыханием.

— Брр! Зима! — проворчал Подзёмок и посмотрел направо.

Направо, к реке расстилалась весёлая долина, по которой с журчаньем неслись ручьи, а кустики свежих трав так и рвались из-под земли к свету. Над долиной угасала заря.

Подзёмок ударил себя ладонью по лбу и воскликнул:

— Да ведь это наконец-то весна!

Вдруг со стороны бора повеяло ледяным ветром.

Закручинился Подзёмок и говорит:

— Поди-ка, ухитрись, разгадай, зима теперь или весна? С левой стороны так, с правой этак! И сам царь Соломон стал бы в тупик.

В это время над ним что-то зашумело в воздухе.

«Ого! — думает Подзёмок. — Теперь-то я уж добыюсь правды! Или это ворон, или голубь. Если ворон, то зима, а если голубь, то весна».

Но едва он подумал это, смотрит, а перед ним, как раз прямёхонько, опускается летучая мышь.

— Поди-ка, ухитрись, разгадай! — снова проворчал Подзёмок и начал крутить головой.

Крутит головой влево и вправо, думает и всё-таки ничего выдумать не может.

Посмотрел он в долину, а там какой-то белый свет, почти что серебристый.

— Ого! — воскликнул Подзёмок. — Теперь-то я уж добьюсь правды! Или это снег, или роса. Если снег, то зима, а если роса, то весна.

И он внимательно начал рассматривать, что это такое. Вытирачил хорошенько глаза, — оказывается, что это ни снег, ни роса, а только туман.

— Поди-ка, ухитрись, разгадай! — в третий раз проворчал Подзёмок и с огорчением закрутил головой.

Крутит он головой влево и вправо, думает и всё-таки ничего выдумать не может.

Посмотрел он в бор, а там в зарослях что-то светится.

— Ого! — крикнул он. — Вот теперь-то я уж наверно добьюсь правды. Или это светляки, или гнилушки. Если гнилушки, то зима, а если светляки, то лето.

И он тотчас же побежал на этот свет.

Прибежал, смотрит, оказывается, что это волчьи глаза.

Подзёмок страшно рассердился и говорит:

— погоди, светишь ты мне, и я тебе посвечу!

С этими словами он высек огня, закурил трубку и, выпустив большой клуб дыма, повернул голову и совершенно перестал думать о волке.

Тем временем ему страшно захотелось есть. Глядит, высматривает, чем бы ему подкрепиться, и видит, — лежит что-то во мху. А место было то самое, на котором Чепухинский-Вздорный рисовал части света и измерял пути весны.

Смотрит Подзёмок и видит — лежит что-то круглое. Думает, яйцо.

А то был комочек извести, из которой учёный муж слепил земной шар.

«Какое-то особенное яйцо!» — думает Подзёмок, стукнул его, смотрит — известь.

Этого для него было уже с лишком достаточно. Он с гневом растянулся на мху, подпёр голову рукой и заснул.

До утра было ещё далеко, и рассвет еле-еле серебрил восточную сторону небосклона, когда Подзёмок услышал над собой какой-то сильный шум.

Он очнулся, сел, протёр глаза, смотрит, а это аисты летят. Из-за моря летят, из-за синего. Распростёрли свои крылья в тихом, посеребрённом воздухе и широким полётом направляются к своим старым гнёздам.

«Как раз в самую пору! — подумал Подзёмок. — На такой лошадке всё-таки дело будет спорей, чем пешком».

А когда он думал так, аисты как раз пролетали над той горкой, где стоял он, и чуть не вплотную приблизились к земле. Подзёмок подпрыгнул, вскочил на ближайшего аиста, обвил руками его шею, стиснул пятками бока как настоящий всадник, когда он пускает коня во всю прыть, и помчался впереди всех.

Но едва они пролетели над долиной и над рекой, которая под розовыми лучами горела яркими блёстками, как Подзёмок начал соображать и припоминать что-то. Выгон, пруд, пограничные холмы, полевые груши, деревня, далеко растянувшаяся двумя рядами хат, сарай — всё это было как будто знакомо ему.

И вдруг он пришёл в ужас. Не туман ли пал ему в глаза? Он видит хату, стоящую на краю селения посреди берёз, перед хатой — разрытую курами навозную кучу и новую метлу у порога. Протёр он глаза, сплюнул в сторону — ничего не помогает! Хата, берёза и метла не исчезают. У Подзёмка по коже пробежали мурашки.

Нет никакого сомнения, что это был тот самый дом, в котором он, под видом подкидыша, лежал в колыбели и таскал у бабы из горшков разную пищу, и та самая помойка, на которую он был выброшен в самом жалком положении.

— Тпру... Тпру... — крикнул Подзёмок на аиста, как на лошадь, но аист, заведя на крыше своё старое гнездо, начал весело клекотать и, оставляя далеко за собой своих товарищей, прямо понёсся к этой хате.

Съёжился бедный Подзёмок, как только мог, припал к шее аиста и сделался ещё меньшим, чем был.

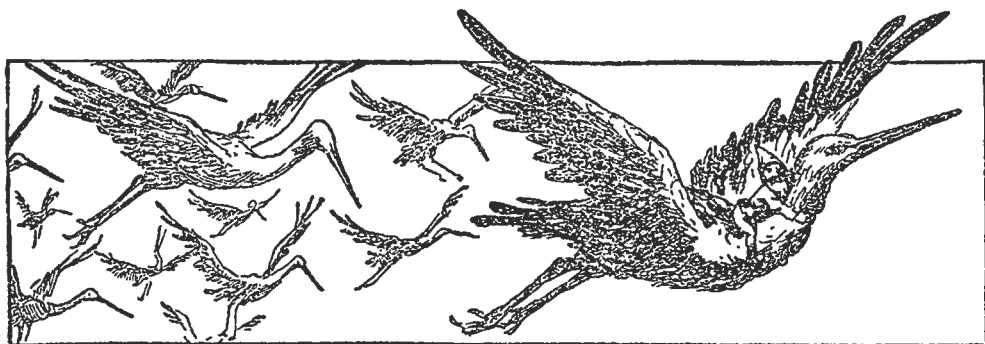
«Нечистый меня сюда принёс!» — думал он, дрожа всем телом при воспоминании о бабе.

Он уже оглядывался, не лучше ли ему соскочить наземь, чем рисковать вторично встретиться с бабой, но было несомненно, что



при таком прыжке он сломает себе шею. Подзёмок подумал-подумал и остался на месте.

Тем временем аист описал широкий круг над почернелой, поросшей мхом кровлей, описал другой поуже и, опускаясь всё ниже, наконец, сделав половину третьего, вытянул длинную шею, с громким клёкотом упал в старое гнездо и ещё несколько минут от радости бил тихий голубой воздух своими большими крыльями.



Высунул Подзёмок голову из-за шеи аиста, смотрит — всё как было: в коровнике мычат телята, кудахтает пёстрая курица, горшок вверх дном торчит на колышке у плетня, за углом похрапывает Кручек.

В это время двери хаты скрипнули.

«Как Бог свят, баба!» — думает Подзёмок, и спина у него начинает чесаться.

И, действительно, раздался возглас бабы:

— А! Прилетел! Милости просим пожаловать в добрый час... Милости просим!..

Подзёмок тотчас же прячется за шею аиста, но баба каким-то образом всё-таки увидала его.

— Что за пропасть такая? — говорит она, внимательно смотря кверху.

И вдруг она всплеснула руками.

— Караул! Та же самая нечистая погань! Заговор тут какой-нибудь, что ли!?

Она тотчас же вспалилась гневом и закричала во весь голос:

— Подожди ты, вот я тебя кочергой сейчас достану.

И она бегом побежала в хату, а Подзёмок тем временем прыгнул с аиста на самое дно гнезда. Зарылся он в солому, съёжился, сидит, а сам выглядывает сквозь щёлку, что будет дальше.

И, действительно, не прошло и минуты, как баба уже прибежала с кочергой. Смотрит она на крышу, — никого нету, лишь аист раскочерчился на своих красных ногах и громогласно кричит.

— А куда же этот-то девался? — заорала баба. — Туман на глаза мне пал, или что-нибудь другое?

В это время какая-то соломинка так попала в нос Подзёмка, что он никак не мог сдержаться и чихнул словно из пушки.

— А, вот ты где! — завопила баба и полезла за ним с кочергой.

Но достать его она не могла, потому что кочерга оказалась коротка.

— Подожди же, — продолжала кричать она. — Сейчас пойду, принесу лестницу.

«Плохо дело!» — думает Подзёмок и смотрит, не явится ли откуда-нибудь помощь.

А холодный пот так и выступает у него на лбу.

Посмотрел он вниз, тащит баба саженную лестницу, такую, что с неё и на церковную колокольню влезть можно.

У Подзёмка защемило сердце, а баба уже опёрла лестницу о крышу и лезет с кочергой.

Несчастный гном подскочил к самому краю трубы.

«Прыгнуть, что ли?» — подумал он. Посмотрел — и думать нечего! Прыгнешь с такой высоты — разобьёшься, как пасхальное крашеное яйцо.

А баба стоит уже на середине лестницы и протягивает кочергу.

«Смерть, не смерть, — думает Подзёмок, — всё лучше бабьих побоев!» Он зажмурил глаза, разбежался и прыгнул. Сразу же в голове у него закружилось; свет завертелся под ним, словно запущенный кубарь: крыша, баба, хата и кочерга слились в его глазах в одно, и он был уверен, что костей своих не сберёт, как вдруг почувствовал, что падает на что-то мягкое, точно, как на пуховик, и что это мягкое во весь дух мчится с ним вместе.

Он ухватился обеими руками, чтобы не упасть, потому что его поразил приятный запах, словно кто-то провёл у него под носом куском копчёной ветчины.

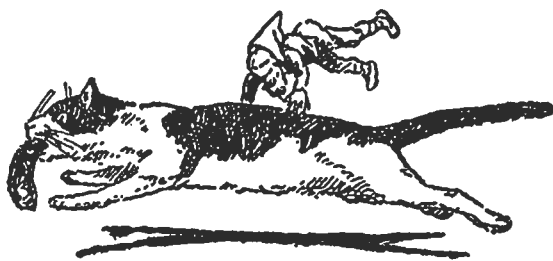


То был кот, который, стащив колбасу, которая коптилась в трубе, потихоньку прокрадывался на чердак, когда Подзёмок сверху свалился к нему на спину, отчего кот страшно перепугался, думая, что это баба поймала его, держит его за спину, и ещё более прибавил прыти.

Они были уже далеко от хаты, и деревня почти совсем скрылась из их глаз, когда котище, забравшись в хворост и крапиву, начал кататься по ним, чтобы сбросить со спины обременяющую его тяжесть.

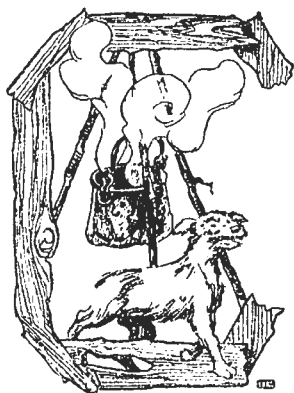
Но Подзёмок не уступал. Правда, крапива жгла его, хворост царапал, но запах колбасы был так приятен, что он решил не расставаться с находкой.

И только когда кот, бросаясь из стороны в сторону, выпустил колбасу из зубов, Подзёмок соскочил с его спины, схватил колбасу, отёр с неё песок лопухом, скушал и, подкрепившись достаточно, закурил трубочку, лёг под кустом и, раздумывая о своих удивительных приключениях, сладко заснул.





IV



олнце начинало прокрадываться сквозь кустарники, когда Подзёмок вдруг пробудился, сел и стал внимательно прислушиваться. Ему показалось, что его разбудил какой-то странный звук. Вот он и слушал, хорошенько не зная, снится ли это ему или не снится, потому что вокруг ничего не было видно. Но по воздуху действительно пролетал какой-то звук, сначала слабый, как жужжанье мухи, потом как комариная песня, наконец как пчелиный хор, когда рой вылетает на луг.

Но из этих звуков сплеталась какая-то чудакливая песня, не то громкая, не то тихая, не то птичья, не то человеческая, не то весёлая, не то печальная, но такая трогательная, что хоть смейся и плачь в одно и то же время.

Всё внимательней и внимательней прислушивался Подзёмок, который ко всякой музыке имел особенное пристрастие, и в конце, сообразивши, откуда идёт этот голос, встал и пошёл прямо на него.

Спустя малое время, он вышел из зарослей на лесную полянку, окружённую густым бором. Над полянкой висела тонкая струя дыма от небольшого костра, у которого что-то варилось в котелке и издавало приятное благоухание.

Подзёмок уже потянул носом это благоухание и хотел было подойти поближе, потому что был охоч на всякую еду, когда маленькая собачонка, без толку бегавшая то туда, то сюда, начала ворчать и повизгивать. На её лай тотчас же поднялся лежащий у костра цыган, который играл на волынке, и, держа на плече привя-

занную к шнурку обезьянку, учил её прыгать. Цыган оглянулся вокруг, но ничего подозрительного не увидел, потому что Подзёмок, после утреннего приключения с бабой, до некоторой степени почувствовал отвращение ко всякой встрече с людьми, присел за кустом терновника и ждал, что будет дальше.

Тогда цыган лёг возле костра и снова начал давать уроки обезьянке. Как только он заиграет на волынке, так сейчас же дёрнет за шнурок, а бедная обезьянка скачет то вправо, то влево, но так неумело и так тяжело, что цыган нет-нет, да и хлестнёт её шлепком.

«Бедный зверёк!» — думает Подзёмок. Сердце у него было мягкое, и он незаметно выступил из-за кустарника.

Выступил он и остановился как вкопанный. Да ведь это Чепухинский-Вздорный собственной своей персоной, а не какая-нибудь обезьянка скачет под цыганскую волынку.

Страшная жалость и удивление проникли в сердце Подзёмка, так что он не мог победить их, подбежал к костру и воскликнул:

— Ты ли это, учёный муж, или глаза мои обманывают меня?

Чепухинский-Вздорный узнал его и воскликнул громким голосом:

— Спаси, брат Подзёмок, будь добр!

Тут они бросились друг к другу в объятия и с чувством начали целоваться.

Цыган раскрыл рот, выпустил из зубов дудку волынки, сам себе не верит, глаза протирает.

«Что за притча такая? — думает он. — Обезьяны или не обезьяны? Тьфу ты, пропасть! А ведь говорят, как люди».

Сначала его охватил такой страх, что он едва не выпустил из рук шнурок, но вдруг ему в голову пришла новая мысль: он поспешно снял с головы шляпу, накрыл обоих гномов, потом привязал на шнурок и Подзёмка и весело рассмеялся.

— Вот теперь на ярмарке хорошие денежки заработать можно! — сказал он. — Да ещё какие! Серебром, золотом я заставлю платить себе за такую потеху. Обезьяны, которые плачут, разговаривают и целуются точно люди. Да ведь это один раз в тысячу лет случается, если только не реже!

Он быстро съел кашу, которая варилась в его котелке, встал, огонь засыпал пеплом и, держа на одном плече Чепухинского-Вздор-

ного, а на другом — Подзёмка, широко шагая, направился в город.

Горько заплакал Чепухинский-Вздорный, видя, какому унижению подвергается он... Его будут показывать на ярмарке в качестве обезьяны! Но Подзёмок незаметно толкнул его и говорит:

— Не огорчайся, учёный муж! Ещё не всё потеряно.

— Ах, брат, — простонал Чепухинский-Вздорный, — во что обратится моя слава, когда у меня и книги нет!

— А что же с ней случилось?

— Пропала!

— А перо?

— Сломано!

— А чернильница?

— Разбита!

— Гм! — грустно согласился Подзёмок. — Правда, что вся твоя учёность погибла, потому что у тебя нет ни книги, ни пера, ни чернильницы. Но знаешь, что я скажу теперь? При теперешних обстоятельствах держи себя не как учёный, а как самый обыкновенный простой человек, такой, как я, например, и всё это зло обратится нам в добро.

Тут он замолк, потому что на дороге слышались многочисленные голоса и всё более и более приближались к ним.

То была цыганская шайка, так же спешившая на ярмарку в местечко: молодые, оборванные и загорелые цыганки с детьми, торчащими за спиной, старухи с трубками в зубах, мужчины с котелками на палках и маленькие цыганята с курчавыми волосами и хитро бегающими глазами.

К этим-то цыганам присоединился и тот, который нёс Чепухинского-Вздорного и Подзёмка, и все кучей пошли дальше.

Цыгане вели себя, как и приличествует цыганам. Одни по дороге ворожили, другие хватали всё, что им попадётся под руку: полотнище с плетня, курицу, гуся и даже куски сыра, висящего на солнце. Им это доставалось без особенного труда, потому что народ ушёл уже на ярмарку, и хаты стояли пустыми. И много вещей тогда пропало в деревне.

Наконец, вся шайка, дойдя до местечка, тотчас же разделилась: одни пошли направо, другие — налево, и каждый боковыми переулками начал своей дорогой прокрадываться к базару.



А ярмарка была в полном разгаре.

День стоял погожий; людей собралось видимо-невидимо; лошади, телеги и разный скот занимали всю широкую площадь. Мужики обступили лари с обувью и шапками; бабы торговали горшки и миски, девицы покупали ленты и бусы, дети пищали на глиняных петушках, грызя пряники и держась за материнский передник.

Из кошёлок и возов гуси и утки протягивали свои шеи; повсюду движение, толкотня, гомон, кудахтанье, гагаканье — целый хор разнообразнейших голосов.

Но наибольшая толкотня всё-таки была перед балаганом, у дверей которого стоял цыган. Он стоял подбоченившись, напрягал всю силу своих лёгких и кричал:

— Эй, народ честной! Сущие чудеса в этом балагане! У кого есть глаза, чтобы смотреть, уши, чтобы слушать, и деньги в кармане, чтобы заплатить за вход? Две обезьянки, привезённые прямо с луны! Клянусь своей цыганской совестью! Прямо с луны! Воды не пьют, горшков не моют, говорят по-людски! Эй, народ честной! Чудеса у нас в балагане!

Народ бросал медяки и теснился в балаган, где учёный Чепухинский-Вздорный должен был бить в барабан, а Подзёмок — играть на свирели.

По мере того, как вокруг балагана толкотня всё увеличивалась, цыгане шныряли между возами, там стянут полушубок, там — платок, горшок масла, корзину с яйцами или курицу. Но никто не замечал этого, потому что все стояли и глазели на балаган, где должны были показываться эти чудеса. Видел это только один Подзёмок.

И вот, когда Чепухинский-Вздорный отбарабанил своё, Подзёмок схватил свою свирель, но вместо того, чтобы играть на ней, запел:

«Осмотри телегу тихо, осторожно,
Всё цыган утащит, только что возможно!»

Посмотрели мужики один на другого, но Подзёмок ничего себе и опять запел то же самое:

«Осмотри телегу тихо, осторожно,
Всё цыган утащит, только что возможно!»

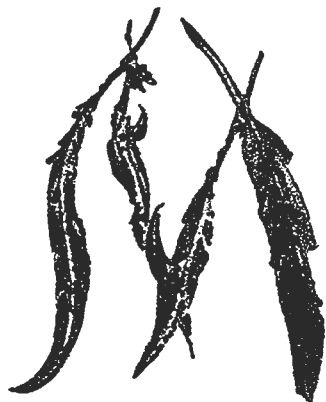
Тогда заглянул один мужик в свою телегу, а там полушубка нет. Посмотрел другой, а у него только что купленных сапог не оказалось. Меж бабами пошёл крик, что у старостихи пропал пёстрый платок. Как заревёт народ, как бросится на балаган; цыгана помяли так, что он и шнурок, и цепочку выпустил из рук, а цыгане тотчас же улизнули из местечка.

Во время этого переполоха Подзёмок и Чепухинский исчезли, как будто бы их сдуло ветром с лица земли.





V



иновал уже давно полдень, когда наши краснолюдки, прибежав на опушку леса, почти без сил упали на траву, чтобы отдохнуть немного.

Чепухинский-Вздорный был в особенности измучен, потому что цепочка, к которой приковал его цыган, несносно натирала ему ногу и затрудняла движения.

Учёный летописец до тех пор стонал и ворчал, пока Подзёмок не разбил звеньев цепочки между двумя камешками и не обернул его ногу свежей травой. Но это было не так-то легко. Чепухинский-Вздорный сопротивлялся изо всей силы, утверждая, что подобное простое лекарство пригодно только для мужичья, а не для учёных мужей, но когда почувствовал облегчение, то сейчас же и успокоился.

Тогда Подзёмок, внимательно осмотревшись вокруг, радостно воскликнул:

- Да ведь это та самая поляна, где меня поймал цыган!
- Конечно, — согласился Чепухинский.
- Ура! Если так, то там должна быть и каша.

С этими словами он бегом отправился искать угасший костёр, вскоре нашёл его, разгрёб пепел, подложил хворосту и изо всей мочи начал дуть. Угли разгорелись, по хворостинам начали пробегать искры, над костром взвился дымок, и наконец вспыхнул ясный, живой огонь. Минуту спустя в котелке бурлила уже вкусная каша. Оба товарища не без удовольствия покушали и закурили трубки. Прошло ещё несколько часов, нужно было уже собираться в путь,



когда Подзёмок зацепился ногой за что-то твёрдое, наклонился и нашёл утерянную цыганом волынку и заиграл на ней.

Из волынки вышел чудный голос, такой, что разбудил спящее эхо, и тотчас же в зарослях отозвались дрозды, зяблики, ласточки, коноплянки и другие маленькие птицы, словно скрытый хор, который только что и ждёт надлежащего знака. В особенности один чирик запел так дивно, что деревце, на котором он сидел, тотчас же покрылось розовым цветом, а полевые маргаритки, шиповник и лиловые колокольчики вдруг обратились в крылатых детей, перешёптывающихся между собой: «Весна!.. Весна!.. Весна!..»

Подзёмок с радостью прислушивался ко всему этому, облокотившись на посох, как вдруг к этой песне, сплетённой из птичьего щебетания и шёпота цветов, начала примешиваться какая-то скорбная нота. Зазвучала она где-то далеко, но мало-помалу приближалась.

На опушку леса вышла худая, бедно одетая женщина, которая, собирая лебеду, отирала от слёз глаза исхудавшей рукой и, думая, что она одна, пела унылым голосом:

«Весна, весна ты тяжкая,
Ой, горе мне, бедняжка я!
Лишь голода сурового
До хлеба жди до нового...
Эх!»

Отзвук её слов широким стоном разлился далеко-далеко по тихому лесу, а женщина снова начала:

«Пищат детишки малые,
Голодные, усталые...
Цветами луг пестреется, —
А здесь, что с нами дется...
Эх!»

И снова эхо раздалось в лесной глуши, а бедная женщина, собирающая лебеду, пела дальше:

«Восходит солнце красное,
Но плачу я несчастная...
Росою умывается,
Лишь мне недолго маяться...
Эх!»

Слушал эту песню Подзёмок, и жалость нарастала в его добром сердце. Припомнил он весну, некогда проведённую им в деревне, когда в убогих хатах не хватало хлеба и муки, когда матери должны были кормить своих детей лебедой, когда скотина издыхала от бескормицы, а у кого были хотя бы и отруби, тот считал себя счастливым. И вот, когда эхо песни утихло, он вздохнул и сказал:

— Теперь я уже знаю, что весна пришла! Птицы поют, цветы зацветают, а голодные дети плачут.

И он вспомнил, что сор, собранный в Хрустальной пещере на земле, обращается в деньги, тихонько подошёл к тому месту, где женщина собирала лебеду, выворотил оба кармана и тщательно начал вытряхивать их. Действительно, там уцелело несколько соринок, и от них-то, когда они упали на землю, разлился яркий свет.

— Сокровище! Сокровище! — воскликнула женщина, увидав серебряные монетки.

— Иисусе милосердный! Сокровище! Значит, мы не помрём с голоду. Иисусе милосердный!..

Она набрала целую пригоршню денег, упала на колени и начала молиться растроганным голосом:

— Ты не покинул своих сирот! Ты не забыл нужды убогого! Ты не оставил в голоде алчущего! Избавитель! Утешитель! Отче наш!

Она замолкла, и только ясные слёзы, льющиеся из её глаз, обращённых к небу, говорили за неё. Слыша и видя это, Подзёмок начал тереть кулаком глаза, и лицо его всё сморщилось, так как он готовился плакать.

Но когда женщина, покорно поцеловавши землю, встала и направилась в лес, Подзёмок говорит:

— Нечего нам тут долго оставаться. Весна в полном разгаре. Нужно с этой вестью возвращаться к королю.

Он ещё не кончил говорить, как вдруг слышит, что-то стучит по дороге. Посмотрел Подзёмок — оказывается, тот самый

цыган, который водил их на ярмарку, возвращается за котелком и за волынкой.

Подзёмок тотчас же поднял с земли суковатую палку, чтобы защититься от цыгана в случае, если он повернёт в его сторону.

Вскочил и Чепухинский-Вздорный и уже хотел бежать, когда Подзёмок схватил его за рукав и говорит:

— Не бойся, учёный муж! Водил он нас, теперь мы поводим его! В твоей книге стоит, что, в случае крайней опасности, маленькие краснолюдки могут преобразиться в великих краснолюдов. Но только скажи, как это сделать?

Но Чепухинский-Вздорный от страха так щёлкал зубами, что и слова не мог выговорить.

— Скорей! Скорей! — зывал Подзёмок.

А цыган уже подбегал к полянке.

— Нуж... нуж... нужно... — бормотал Чепухинский, трясаясь как в лихорадке, — нужно на... наз... назвать... великую вещь! Наивеличайшую...

А в это время цыган уже заметил их и крикнул:

— Вот вы где, птички! Подождите, заплачу я вам сейчас!

— Кверху... — промолвил летописец...

— Кверху... — крикнул также и Подзёмок слегка дрожащим голосом, но не поднялся даже и на несколько вершков.

— Му... му... мудрость! — пробормотал Чепухинский-Вздорный.

Но и это ничуть не помогло.

— Сила! — воскликнул Подзёмок в величайшей тревоге, потому что цыган уже накладывал на него руку.

Но как он был малым, так и остался.

А в это время в воздухе раздался тихий голос, как будто ветер заговорил между деревьями:

— ...Милосердие!

То было эхо, отразившееся от слов бедной женщины, которая шла лесом, прославляя Божие милосердие.

Но когда этот голос долетел сюда, побледнел цыган и остановился, словно вкопанный.

Маленькие краснолюдки начали в его глазах расти, расти, а цыган отступал... всё отступал, шепча побледневшими от страха устами:

— Сгинь, нечистая сила!.. Сгинь, пропади!..



Тем временем краснолюдки переросли его на целую голову, переросли на две, на три, наконец, сравнялись с лесными соснами и предстали пред ним грозными, могучими, предстали такими гигантами, что цыган в сравнении с ними казался карликом.

Упал тогда он перед ними на землю, умоляюще сложил руки и начал взывать:

— Пощадите, милостивые господа! Простите, вельможные господа! Я думал, что вы обезьяны, — оказывается, что вы чародеи. Простите цыгана, вельможные великаны!

Подзёмок, обратившийся в гиганта, нахмурил брови и говорит густым голосом:

— Ну, пусть будет так, потому что сегодня я в милостивом настроении духа. Но ты должен нести нас через лес и через реку к нашей пещере. А если кого-нибудь из нас тряхнёт, если кто-нибудь зацепится за ветку или сапоги замочит, то я тебя сейчас же обращаю в бисову клячу. Да о пропитании нашем озаботься. Чтобы в каждое время было много еды да хорошей. Что это у тебя торчит из сумки?

Оказалось, что из сумки торчит лепёшка, сташенная с лотка, кусок копчёного сала и кружок сыра.

— Мало! Очень мало!.. Совсем мало!.. — ворчал Подзёмок, вынимая всё это.

Но цыган, не вставая с земли, вопил:

— Пусть я сразу стану бисовой клячей, чем нести двух таких верзил, как вельможные господа, да ещё держать их на собственном иждивении. Так ли, сяк ли, — всё равно — погибель моя!

Тут он начал стонать и плакать.

Но эхо, отражаясь от дерева до дерева, утихало и медленно расплывалось, а вместе с этим оба великана начали мало-помалу уменьшаться.

Тогда Подзёмок сказал:

— Ну, не бойся, цыган! Встань! Ты видел наше могущество, — этого достаточно. Теперь мы снова обращаемся в маленьких краснолюдков, и тебе легко будет нести нас. Только еды готовь побольше. Как можно больше! Столько же, сколько для взрослых.

Поднял голову цыган, а перед ним малые карлики. И вот он начал целовать у них руки, смеясь и плача в одно и то же время, потом посадил их к себе на плечи, а когда они закусили и закурили трубки, пустился с ними в путь.

И нёс он их таким образом до вечера, нёс всю ночь, потому что было полнолуние, и ночь стояла ясная, и хотя у него ноги затекли, пожаловаться не смел из опасения, как бы эти чародеи снова не обратились в великанов. Хуже всего то, что из хлеба и сыра ему мало что осталось, потому что Подзёмок, нет-нет, да и потянется к мешку и в конце концов раздулся, как пузырь. Теперь он нестерпимо обременял цыгана, так что тот то и дело пересаживал его с плеча на плечо.

Наконец на другие сутки, в полдень, они остановились у входа в Хрустальную пещеру, который, однако, был так завален камнем, что оставалась лишь узкая щель, настолько, чтобы можно было пройти одному гному. Чепухинский-Вздорный проник в пещеру, как ни в чём не бывало. Всем известно, что учёные летописцы всегда бывают худощавы. Но Подзёмок так откормился во время своей экспедиции, что даже и мечтать не смел о том, чтобы войти обыкновенным путём. Попробовал другим — ничего не выгорает. Тогда он крикнул цыгану:

— Эй, цыган! Не видишь ты разве, что этот камень вырос и завалил то место, где я в прежнее время проходил совершенно свободно? Свали его с дороги!

Цыган ответил:

— Высокомощный благодетель! Будет так, как ты прикажешь. Но я хотел бы вновь свидеться со своей волынкой. Цыган без волынки — всё равно, что нищий дед без ежа¹. Я верно служил ясно-вельможным господам и прошу, чтобы мне возвратили моё.

¹ Ёж — посох у нищих, обтянутый ежовой шкуркой, для защиты от собак.



Подзёмок достал волынку и говорит:

— Совсем это цыганская повадка, всегда выцыганить что-нибудь напоследок. Отваливай камень как можно скорее, потому что я спешу к королю.

Понатужился цыган, упёрся в камень плечами и так сильно толкнул его, что камень, вместе с волынкой и с самим цыганом, трах! и покатился в долину.

В пещеру ворвался ясный день огромными снопами тепла и света, а на крик входящего Подзёмка:

— Здравствуйте, братья!

Ответили сотни голосов:

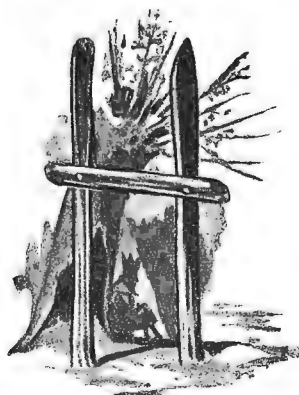
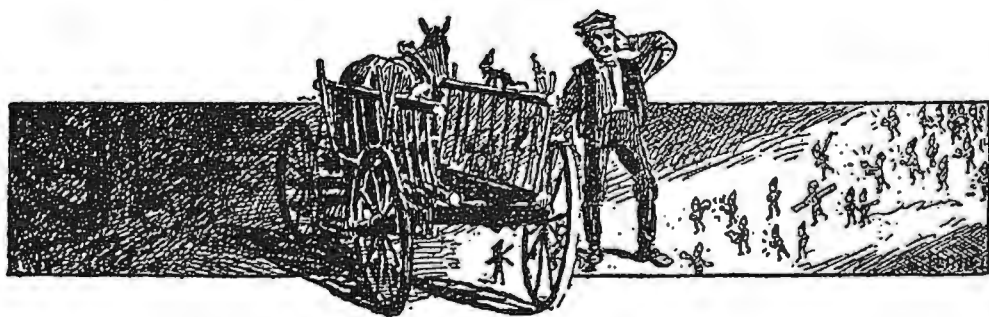
— Солнце! Солнце! Солнце!





Король Огонёк покидает
Хрустальную пещеру





очь была тихая, тёплая, до рассвета ещё далеко, когда возвращающийся с ярмарки Пётр Скробек вдруг увидал неожиданный свет. Как будто что-то горело под маленькой скалой.

«Что это такое? — думает Скробек. — Огонь или не огонь? Или, может быть, это клад очищается? Старые люди говорят, что тут, в этих скалах, в древние времена разбойники зарывали в землю награбленное золото-серебро. Другого и быть не может — это святой огонь очищает деньги от людской несправедливости... Сто лет должно пройти для этого. А коли сиротская копейка, так двести... И вот, когда эта несправедливость выгорит, тогда клад и даётся человеку. Вот если бы мне выпало такое счастье!»

Он хлестнул бичом свою лошадёнку и прямо поехал на свет.

«Пропадёт или не пропадёт? — думал он по дороге. — Если время ещё не наступило, то и пропадёт».

Но свет не угасал; напротив, из-под скалы начали струиться всё сильнее и сильнее чудные, радужные лучи, как это бывает, когда луч солнца преломится в каплях росы.

Сердце несчастного Скробека начало сильно трепетать. Мужик он был бедный, как церковная мышь, а вдобавок у него была пара светловолосых ребятишек, пара сироток. Вот эти дети, бедная лачуга, жалкая лошадёнка и решётчатая телега составляли всё его достояние.

Нанимался он в извоз, как мог, гонялся за копейкой, но и при всём этом в хате хлеб не всегда бывал в достаточном количестве. Ох, уж и пригодился бы ему клад!

Едет бедный Скробек и молится в глубине души, и думает, как бы он купил у соседа клин земли, как бы сажал на нём картофель и кормил бы своих сирот.

Вдруг он смотрит, а в том свете движется и копошится толпа маленьких человечков, таких, что издали едва их от земли отличишь, — длинные бороды, одежды странные, а всё же они люди как люди.

— Краснолюдки! — шепнул Скробек, у которого по коже пробежали мурашки.

Он дёрнул вожжами, чтобы свернуть в сторону, потому что всегда лучше уступить гномам дорогу.

Но его уже обступила ихняя толпа и начала кричать:

— Эй!.. Эй!.. Хозяин!.. Подвези наши пожитки!

И, не ожидая, что им ответит мужик, они начали вскарабкиваться к нему на телегу.

Один хватается за перекладыны, другой взбирается по колёсным спицам, третий тянется к оглобле. Чистая напасть!

Остановился мужик, смотрит, что будет дальше.

Скверно как-то у него на душе, и боится он, и стыдно ему бояться такой мелюзги... Что теперь делать?

Но для раздумья у него времени было мало, потому что едва одни гномы разместились на телеге, как другие начали подавать им какие-то странные шкатулки и сундучки, из которых собственно и струились радужные лучи, а третьи бросали на телегу слитки золота и серебра да так бесцеремонно, как будто это были куски обыкновенного железа.

Всё это брэнчало, звенело и светило в глаза так, что мужик почти совсем лишился разума, и сам уже хорошенько не сознавал, снится ли это ему, или и вправду он видит такое дивное диво.

То вдруг вспыхнут огнём красные камни, словно рубины, камень к камню, величиной в перепелиное яйцо; то в воздухе всё засинеет от голубых сапфиров, великолепных, как сверкающее небо; то вдруг зелёный свет озарит все лица от шкатулки, полнёхонькой зелёных смарагдов; и везде кольца, везде нитки жемчугов, даже глаза разбегаются, — не знаешь, на что смотреть!

Снуют краснолюдки среди этих разноцветных богатств, сами тоже одеты в разноцветные одежды, и всё это так пёстро, как бывает, когда тюльпаны весной расцветут на садовой грядке.



Когда телега была уже почти совсем полна, загорелся свет великий и чудный, словно утренняя звезда. Скробек закрыл рукой глаза от внезапного блеска, а когда посмотрел снова, то увидел выходящего из пещеры короля краснолюдков, в золотой короне, в пурпуре и с золотым скипетром, в котором светился огромный бриллиант, изливающий такой яркий свет, что вокруг стало светло как днём.

Струсил Скробек, потому что такого величия не видал за всю свою жизнь, а царя видел только одного — Ирода в вертепе, которого ребятишки носят по деревне во время Рождественских праздников.

Испугался он так, что не знает, что ему делать: отвесить ли поклон этому маленькому королю или убежать, куда глаза глядят?

Но король благосклонно кивнул ему своим скипетром и говорит:

— Здравствуй, добрый человек! Да хранит тебя Бог! Спеши, пока не миновала ночь!

И он начал взбираться на телегу, в чём ему помогали дворяне, суетясь около его величества и наперерыв оказывая ему услуги.

Но сесть королю было не так-то легко. Его пурпурный плащ цеплялся за колёса, скипетр задел за оглоблю, корона чуть не свалилась с королевской головы, а расшитые золотом красные туфли исчезли в сене.

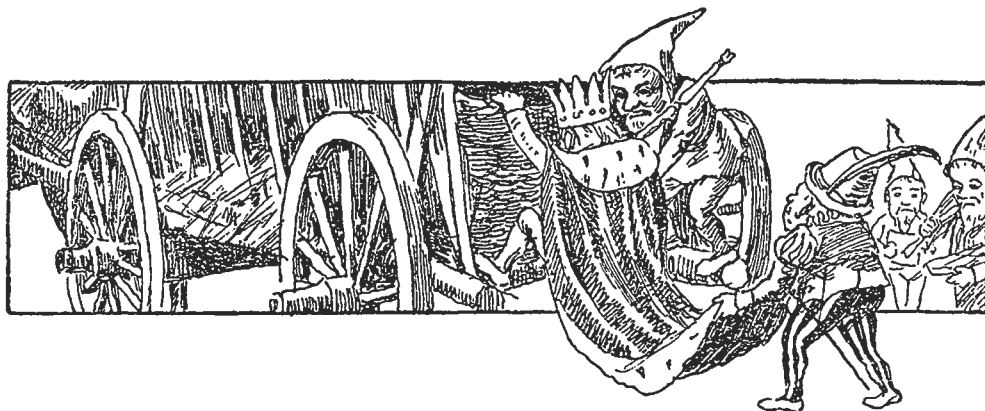
Карабкался королёк, как мог, но самым большим препятствием служил его придворный паж Мычка. Он был тяжёл, как колода, неповоротлив, и то наступал королю на плащ, то, отыскивая в сене его туфли, прямо свалился на него, и так мешался у всех под ногами, как пятое колесо в телеге.

Святым поистине терпением обладал король, что держал при себе такого олуха!

Тем временем Скробек, видя, что с ним ничего дурного не делают, совсем оправился от страха и рассмеялся в кулак, смотря на открывающееся пред ним потешное зрелище.

О краснолюдках он слышал не раз, что с ними нужно брать доброту, потому что если им придётся кто-нибудь по душе, то они ему ни малейшего вреда не принесут, мало того, — даже одарят.

Например, его покойный дедушка рассказывал, что краснолюдки, которые прозываются также «убогими» или «малышами», охотно живут у добрых людей, сидя где-нибудь за печкой или в мышьей



норке, выходят в хату только ночью, а какая работа в доме есть, в той они и помогают.

То они масло собьют за хозяйку, то хлеб вымесят, то прядут, да так чудно, что пряжа переливается, словно серебро.

Порой они выйдут из хаты, заглянут в конюшню, коням заплетут гривы в мельчайшие пряди, вычистят скребком так, что шерсть на них так и лоснится.

Если наступила пора жатвы, то гном усядется на меже, ребёнка укачивает в люльке, привязанной к ивовому пруту, чтобы он хорошо спал и не мешал матери, которая работает на поле с серпом в руке.

Запишит ребёнок, — они поют ему чудеснейшую песню, и потом, когда он вырастет, эта песня, неизвестно откуда, отзывается в его мыслях, как будто кто-нибудь ему подшёптывает её.

Другие люди удивляются и говорят:

— Вот удивительный парень! Ходит и поёт, и на свирели играет, точно его учил кто-нибудь.

А сами и не знают, что он только вспоминает, что слышал во время своих младенческих дней от гномов, когда качался в люльке на ивовой ветке...

Дедушка Скробка говорил, что его самого краснолюдки научили так петь, и всегда оставлял им крошки хлеба или творога на лавке, потому что с земли они есть не желают, — и у них тоже своя гордость.

Когда же наступает Великий четверг или Великая пятница, а в хате готовятся встретить Праздник, непременно от всякой вещи, — от калача ли, от колбасы ли, — непременно нужно отщипнуть кусочек и положить маленьким помощникам на край лавки.

Тогда и добро всякое умножалось, и хозяйство шло, как следует; лошадки толстенные, на овцах шерсть, словно крыша на хате, коровы такие молочные, что таких и во всей деревне не найдёшь, — что, впрочем, и неудивительно, — потому что покойная жена дедушки всегда при доении оставляла несколько капель молока в ореховой скорлупке для своих «убогеньких».

И так всё шло долго, пока не померли старики, пока вслед за ними не умер и отец Скробка. И вот опеку над сиротами принял дядя; старые порядки изменил; хозяйство вёл спустя рукава, и всё, что удалось, тащил к себе.

Ну, и кончилось последней бедой и сиротской обидой, которая вызывает к самому небу.

Тогда все видеть могли, как среди белого дня краснолюдки выбрались из-под печки, перешли через всю хату, через порог, и замаршировали, куда глаза глядят, а с ними ушёл и остаток добра... Сиротам не осталось ничего. Да и у дяди всё пошло прахом.

Так думал Скробек, стоя в стороне, а краснолюдки тем временем, нагрузивши на телегу все свои сундучки и шкатулочки, устроили на них своему королю пристойное место, покрыли ему сиденье дорогим бархатом, потом самые почётные лица из дружины сели на телегу пониже короля, а другие, разместившись, как кто мог, начали понукать Скробка:

«Позабывши негу,
Сел король в телегу.
Помолись ты Богу
Да и в путь-дорогу!»

— А куда же мне ехать? — дельно спрашивает Скробек, который, совсем освободившись от страха, пришёл в хорошее расположение духа. — Направо или налево?

Гномы ответили ему:

«Ах, какой же ты упрямый!
Путь держи ты прямо».

Скробек снова спросил:

— А куда же мы поедем?

И гномы снова ответили ему:

«На поля, к ручью серебристому,
К лугу светлому, душистому»...

Почесал Скробек в затылке и спрашивает:

— А что мне за хлопоты будет?

— Маковую головку или доброе слово.

Скробек сказал:

— Нет, не пойдёт! Не согласен! Конь мой, воз мой, и что на нём, —
всё моё!

Но гномы хором крикнули:

«Конь твой, воз твой,
А добро всё — наше!
Тот дурак, кто даст
Дунуть себе в кашу!»

И они начали брнчать саблями.

— Ну, так пускай будет пополам! — сказал на это мужик.

Тогда заговорил король Огонёк:

— Милый мой, — сказал он тихим голосом, — если б ты обладал не половиной, а тысячной долей этих сокровищ, — то ты погиб бы. Великое богатство портит человека так же, как и великая нужда. Оно вытягивает силу из его тела, выжимает дух из груди, сбивает с истинного пути.

Король замолчал на минуту, но потом продолжал:

— Мать-земля не людям отдала все свои сокровища, но нам, малым слугам своим. Мы стережём их, но не обогащаемся ими; жемчугов не меняем на слёзы бедняков; бриллиантов не продаём и не покупаем; из золота дукатов не чеканим; тешим свои глаза только их блеском, прославляем мать-землю и верную стражу держим у её сокровищницы.

Мужик сказал на это:

— Если ты, всемилостивый король, так добр, то поведай мне, откуда же берутся эти сокровища?

И король ответил:

— Все сокровища берутся из земли, из того, что упустит и чем пренебрежёт человек. Частицы времени, не употреблённого на дело, обращаются в сапфиры; частицы несъеденного хлеба — в яснейшие перлы; частицы силы, которая не сделала добра ни себе, ни кому-нибудь другому, — идут на чистое золото. Если бы человек не терял этих частиц, не пренебрегал бы ими, то сокровища эти принадлежали бы ему. А так как этого нет, то они идут в землю, и мы там стережём их.

На это Скробек широко раскрыл рот и спрашивает:

— Так вы из-под земли? Всё равно как слепые кроты? Господи Иисусе!

Король ответил ему:

— Из земли всё идёт, — и малые, и великие силы. Земля каждому даёт столько мощи, сколько он вместить в себе может.

— И что ж вы делаете?

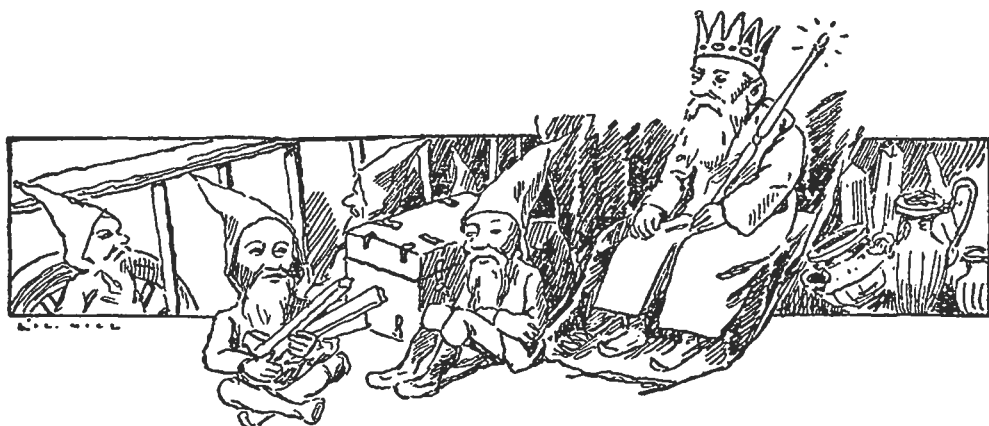
Краснолюбки хором ответили ему:

«Мы считаем, сколько
В море есть песчинок,
Сколько звёзд на небе,
На лугу — былинки;
Капли рос вечерних,
Пролитые слёзы,
И заносим точно
На кору берёзы».

— Тьфу! — сплюнул на это Скробек. — Нечего сказать, хорошее занятие! Ничего из этого не понимаю. Прикажи, всемилостивый королёк, челяди своей сидеть тихо, потому что у меня совсем в голове помутилось от этого гомону; если нужно ехать, то я и поеду, только мне нужно знать, куда и зачем?

Он взял вожжи в руки и чмокнул на лошадь, приготовляясь идти рядом с телегой, потому что для него самого места уже не оказывалось.

— Поезжай спокойно, добрый человек, — сказал король и сделал движение скипетром. — Мы наградим тебя по твоим заслугам, в обиде ты не останешься.



— Пусть так будет! — отозвался Скробек. — Я полагаюсь на твоё королевское слово! Ну, а ехать-то куда же?

От этого вопроса краснолюдки зашумели, словно пчёлы в улье; один советовал одно, другой — другое. Тихий голос старого короля едва слышался среди всеобщего шума.

Вдруг Чепухинский-Вздорный поднял голос и заговорил так:

— Так как никакое государство не может жить без мудрости, а мудрость не может существовать без ведения книг, то я вношу предложение, чтобы добрый мужичок повёз нас туда, где находится наибольшее количество гусей, дабы я мог добыть себе перо и завоевать новую славу.

Но Подзёмок, который так утонул в сене, что виден был только один его нос, вскочил и сказал:

— Ни к чему это не нужно! Зачем мне мудрость, коли мы будем голодать? Полный желудок — вот что главное! Остальное выеденного яйца не стоит.

Тут он обратился к королю и прибавил:

— Если ты, всемилостивый король, хочешь иметь спокойствие в своём государстве, то прежде всего заботься, чтобы в нём не было голодных. Совет мой таков: если этот мужик должен везти нас, то пусть везёт туда, где в печке каша прееет и сало поджаривается. Иначе нет моего согласия.

— Именно! Именно! — закричали другие. — И нашего согласия нет!

Шум становился всё больше и больше, так что вся телега напоминала راгушу, когда в ней заседают горожане.

Продолжалось это долго; наконец король махнул своим сияющим скипетром и сказал:

— Если нет согласия, то да будет приказание!

И, обратившись к Скробку, он добавил:

— Вези нас, добрый человек, куда ты сам хочешь.

Скробек хитро улыбнулся, заслышав королевские слова, прищурил правый глаз, а левым посмотрел на Подзёмка.

«Подожди же ты, толстяк! — подумал он. — Всех других я повезу вместе с ихним корольком и устрою так, чтобы они были сыты, но тебя спущу непременно к Голодной Вольке. Похудеешь ты там у меня!...»

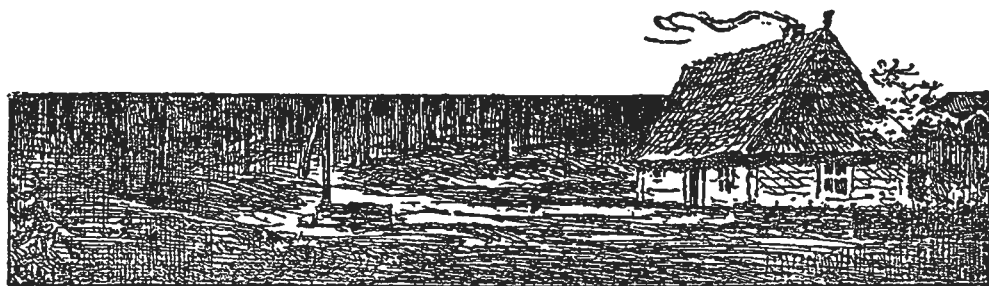
Он щёлкнул бичом и двинулся в путь.





Подзёлок встречается с сироткой Марысей





I

а Карпатскими горами
И за пущей за глубокой
Приютилась крошка-хатка,
По прозванию «Божье око».

Уж теперь не помнят люди,
Кто ей имя дал такое, —
Потому ли, что над нею
Было небо голубое,

И зари румяной искры
На неё лились обильно,
Точно сыпал их десницей
Сам Господь, Творец всеильный;

Потому ль, что здесь струился
Голубой ручей прекрасный,
И любили очи неба
Отражаться в глади ясной,

И звезда мерцала ярко
Так над хатою убогой,
Словно слёзка состраданья
Навернулася у Бога;

Потому ль, что здесь несчастье
Разразилось крупным градом,
И мужик, взглянув на небо,
Повстречался с Божьим взглядом?..

Так ли, этак ли, стояла
Там за пущей за глубокой,
За Карпатскими горами,
Крошка-хатка «Божье око».

II

То ли горлица воркует
Так протяжно и уныло,
Иль соловушка заводит
Песнь, исполненную силы?

Или в сумраке тоскует
Пуща чёрная, густая,
Иль проносится над полем
С завываньем вьюга злая?..

То не горлицы стенанье,
То не пущи голос смутный, —
Умерла недавно мама
У сиротки бесприютной.

Кто накормит, кто напоит,
Поцелует крепко, звонко,
Кто отрёт от слёз глазёнки
Бесприютного ребёнка?

Песни славные, бывало,
Ей на сон грядущий пели, —
Нет сердечного привета,
Нет мягкой колыбели!

Прежде мать её будила
На рассвете лаской нежной, —
А теперь её разбудит
Кто-нибудь рукой небрежной.

Кто теперь её накормит
Белым хлебом, мёдом новым?
Сиротство придёт к бедняжке
С тяжким голодом суровым.

Щеголяла в льняной юбке,
Ладно сшитой и скроённой, —
А теперь сидит с гусями
На лужайке на зелёной...

Гаснет солнце за горами,
Потемнело их подножье...
Умерла сиротки мама,
Умерла во имя Божье.

III

И Марыся плачет ночью,
Днём, поднявшись с постели...
Уж не милы ей косатки,
Чужды жаворонка трели.

В Духов день собирались птицы,
Путь к кладбищу держа прямо,
Где под холмиком цветистым
Опочила мирно мама.

И Марысины рыдания
Ясно слышит хор пернатый —
Уж её прогнали люди
Из родимой старой хаты.

Люди чуждые прогнали,
Не страшася гнева неба:
Уходи искать, сиротка,
Для себя кусочка хлеба.

Ты паси гусей соседских
На лужайке меж кустами, —
Летний дождь тебя промочит,
Солнце высушит лучами.

Под дождём, под ураганом,
Поздней ночью, на рассвете,
Помни крепко: никому ты
Не нужна на белом свете!





IV



Такова была доля сиротки Марыси, у которой волосы были, словно солнечные лучи, глаза, как лесные фиалки, а в сердце тоска и жалость.

— Марыся, сиротка! — говорит ей хозяйка, у которой она пасла гусей. — Отчего ты не смеёшься, как делают другие?

А Марыся отвечает:

— Не могу я смеяться, потому что ветер в полях вздыхает.

— Марыся, сиротка! Отчего ты не поёшь, как делают другие?

А Марыся отвечает:

— Не могу я петь, потому что берёзы в лесах плачут.

— Марыся, сиротка! Отчего ты не веселишься, как делают другие?

А Марыся отвечает:

— Не могу я веселиться, потому что земля стоит, окроплённая слезами росы!

Такова была Марыся.

Прилетят, бывало, птицы, рассядутся возле неё в кустах и поют:

«Ты чего б хотела,
Не скрывай пред нами,
Бедная сиротка
С золотой головкой,
С синими очами?»

А Марыся поднимает на милых певцов грустный взгляд и тихонько поёт:

«Золота не нужно,
Серебра не надо, —
Пусть шумит мне верба
Тонкими листками
Близ родного сада!»

Тогда птицы начинают снова:

«Бедная сиротка
С золотой головкой,
Ты скажи свободно,
Хлеба ли ты хочешь
Иль воды холодной?»

А Марыся отвечает на это:

«Мне не надо хлеба,
Ни воды студёной,
Дайте мне увидеть
Вы родную хатку
С крышей разорённой!»

Защечечут на это птицы, закивают головками, затрепещут крылышками, но одна какая-нибудь из них запоёт:

«Бедная сиротка
С синими очами,
С золотой головкой, —
Ты проси, что хочешь,
Не таись пред нами».

Марыся складывает тогда свои исхудалые ручонки на посконной рубашке, поднимает голову к птицам и говорит:

«Я прошу, так сделай,
Милая ты птица,

Чтобы мне приснилась
Мама нынче ночью,
Как взойдёт зарница!»

И не раз случалось так, что мама снилась ночью Марысе.

Тихо-тихохонько, бело-белёхонько проходила она по комнате, словно луч лунного света, и, словно луч, озаряла своим светом головку своей спящей сиротки.

И снилось тогда Марысе, что светит солнце и что цветы пахнут.

Тогда она протягивала руки к маме и шептала во сне:

— Ты пришла, мамочка?

И тогда раздавался над нею ласковый, тихий голос:

— Пришла, деточка!

И были эти слова, словно какое-нибудь лёгкое дуновение.

Прижимается Марыся к матери и спрашивает:

— Ты возьмёшь меня с собою, мамочка?

А над нею раздаётся голос ещё более тихий и ласковый:

«Ещё не время. Не трать ты сил, —
Соединит нас, Кто разлучил!»

Тогда Марыся говорит:

— Ох, как тяжело ждать, мамочка!

И голос отвечает:

«В труде не видно уходит день,
А жизнь и время — ведь только тень».

И тихо-тихохонько, бело-белёхонько исчезала мама, словно лунный луч, а сирота пробуждалась и хваталась за работу. Трудилась она, как могла, по силам своим, трудилась за угол в чужой хате, за охапку соломы, на которой она спала, за кусок хлеба, которым питалась, за посконную рубашонку, которая покрывала её тело. Зимой она укачивала ребёнка, носила хворост из бора, воду из колодца, а летом пасла гусей.

Деревенские люди так и называли её — Марыся-гусятница или Марыся-сиротка.



Называли они её так год, называли два и, наконец, совсем забыли, что эта девочка называется Кукулянка, и что она — дочь Кукулины, той милосердной женщины, которая хотела выручить из беды Подзёмка, когда он был подкидышем у злой бабы.

Да и сама она, когда кто спрашивал: «Как тебя зовут, девочка?» — отвечала: «Марыся-сиротка».

Лужок, на котором пасла гусей Марыся-сиротка, лежал у самого леса, далеко за деревней, спокон века называемой «Голодной Волькой», потому что земли там были плохие, хлеба давали мало, а люди чаще голодали, чем бывали сытыми.

«Всё пески, пески, болота, —
Ни к чему твоя работа!»

Вот на этих-то низких травах, на этих больших водах воспитывались стаи гусей, и когда всё это принималось возиться, хлопать крыльями и гагакать, то звуки разносились чуть не за целую версту.

Все дети в деревне были заняты этими гусями, пасли их или вместе, или особняком, как кому прикажут старшие.

И только под вечер куча разделялась на маленькие стайки, и всякий гнал свою стайку домой.

И тогда во всей Голодной Вольке только и было слышно, как гусей загоняли по дворам.

К этому примешивалось и щёлканье бичом, словно ехал какой-нибудь свадебный поезд.

Долго ещё после захода солнца гагаканье не прекращалось в загородах и хлевах, да и ночью иногда, ни с того, ни с сего, гусяное оранье раздавалось по всей окрестности.

Но Марыся пасла своих гусей отдельно, возле леса. Их было всего только семь штук. Хозяйка хотела, чтобы им было привольнее, и не приказывала гонять их на общее пастбище. Девочка была рада этому, потому что другие дети смеялись над ней и за то, что она в прятки играть не умеет, и за то, что в зайцах она не шибко бегает, и за то, что она с другими девчонками не хочет танцевать на траве.

И это была правда. Потому ли, что на чужом хлебе она не набиралась достаточно сил, по сиротству ли своему, но Марыся не любила бегать, танцевать, не любила играть с другими детьми в прятки или в зайчика. А зато песен она знала столько, что целые дни пела всё новую, и никогда у неё в них недостатка не было.

И какие песни-то! То как «Зосе захотелось ягод, а купить их было не на что», то как «Долгогривая лошадка ножкой господину своему могилку в поле роет», а то о заколдованной свирели, которая говорила пастушку:

«...Пастушок, играй,
Боже, помогай».

А то ещё, как «Медведь кудлатый притащился к волчихе в сваты», или как «У бабушки был козлик рогатый», или как «Серые лебеди летели за море»...

Но больше всего Марыся любила петь и чаще всего пела песню о сиротке, которая сзывала гусей домой, потому что эта песенка была как будто нарочно сложена про неё саму.

И вот, когда вечерняя заря начинала угасать над лесом, Марыся вытягивала, как могла, громче и тоньше:

«По домам пора, гусятки,
Нагулялись вы немало,
Хорошо вам будет в хатке,
Я ж боюсь и устала».

То была хорошая песенка и так прямо шла к сердцу, что если кто проходил поблизости, тот останавливался и слушал, а порой даже у него и слёзы на глаза навёртывались.

Кто научил Марысю всем этим песням — совершенно неизвестно, а если бы её кто-нибудь спросил об этом, то она и сама ничего не могла бы ответить.

Может быть, этим песням учил её шумящий чёрный бор; может быть, луговые травы, шепчущие тихие слова; может быть, молодые лески, покрытые свежей зеленью, которая, колеблясь от лёгкого дуновения ветра, всё что-то говорит и говорит как будто человеческим голосом. А может быть, даже и та тишина, которая шла по полям и пастбищам, тишина, которая звенела сама в себе, словно весь воздух наполнился звуками.

Слушала, прислушивалась сирота Марыся ко всем этим голосам и не чувствовала при этом ни голода, ни холода; а когда солнце заходило, и нужно было возвращаться домой, и сама не знала, как пролетел денёк.

Но ей и в голову не приходило, что из лесных зарослей за нею следит хитрый и проницательный взгляд, жгучий и безжалостный, взгляд мудрого Обьеды, того лиса из-под Хрустальной пещеры, который устроил себе нору под стволом вывороченной сосны, выдавал себя за отшельника, а сам по сторонам вынюхивал, не удастся ли схватить какой-нибудь вкусный кусок.

В особенности он чувствовал непреодолимое стремление и аппетит к гусятине. Больших стай гусей, тщательно охраняемых сильными подростками, он избегал, главным образом, возлагая все свои надежды на тех семерых гусят, которых пасла Марыся, и всё ближе, исподтишка подкрадывался кустами к лужайке.

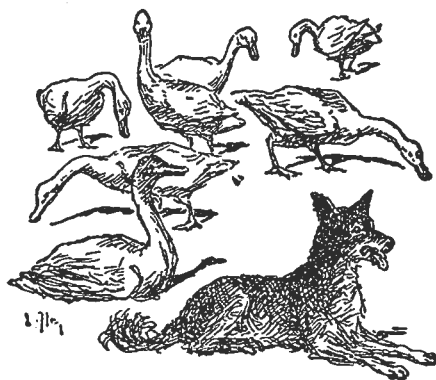
Марыся беззаботно пасла своих гусят, ничего не ведая об этом, беззаботно вечером гнала домой свою стайку, а единственным её помощником была маленькая собачонка Гася, которая сильно любила девочку и целые дни просиживала возле неё на лужайке.

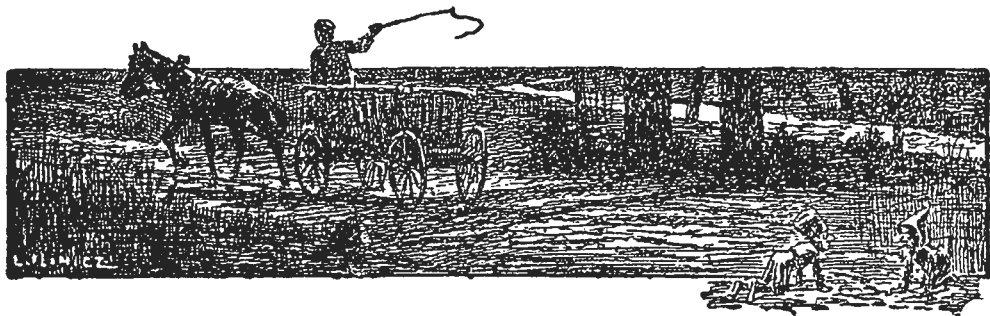
Обьедало чувствовал великое отвращение к этому псу.

— Омерзительная собачонка! — говорил он не раз самому себе, сплёвывая в сторону и страшно морщась. — Я никогда не видал более скверного создания! Например, что это за уши? Острокопечные какие-то, собаке совершенно не подходящие. Или шерсть? Рыжая, точно волосы Иуды-предателя. И характер, должно быть, отвратительнейший! А манеры, приёмы? Бесстыдный тунеядец! Я и высказать не сумею, как мне противен этот зверь, — один вид

его повергает меня в обморок. Видал ли кто-нибудь, чтобы уважающий себя пёс целый день сидел на одном месте и оберегал каких-то семерых жалких гусят! Семь штук! Ха, ха, ха!.. Умереть можно от смеха! Где найдётся такой дурак, который любил бы гусятину и зарился на эту дрянь? Прежде, может быть, было принято, что на лисьих столах появлялось и такое кушанье, но всем известно, что у стариков бывали свои странности. Теперь же ни один порядочный лис не притронется к такому простому блюду. По крайней мере, что касается меня, то я питаю отвращение к гусятине. А на эту жёлтую собаку и на эту оборванную девчонку я положительно не могу смотреть. Если бы не моё намерение остаться здесь отшельником, то я давно покинул бы это место. Но что делать! Если кто всецело посвятит себя добродетели и высоким делам...

Тут он вздохнул так громко, что усы его зашевелились, и, прищуривая то один глаз, то другой, начал следить за движениями Гаси, Марыси и её питомцев. Потом он отвернулся от них и скверно засмеялся.





V



идна была уже издалека Голодная Волька, вся залитая лунным светом. К ней-то и направлялся Скробек, своротив в сторону с дороги. Вдруг он обернулся к едущим на телеге краснолюдкам и говорит:

— По моему глупому разуму, нужно было бы не всех господ высыпать в одном месте сразу, потому что если в одной деревне прибавится столько лишних ртов, то будет такая дороговизна, что просто страх!.. До голода, пожалуй, дойдёт дело.

— Резон! — отозвался на это из глубины телеги чей-то голос, и был тот голос Подзёмка, утонувшего в сене по самые уши.

— По двое, по трое, по пятку, рассыплем там и здесь, и вам будет лучше, и деревенским людям то же самое.

Король сказал на это:

— Рассудительный ты человек! Делай, как сказал.

Скробек остановился, почесал в затылке и, указывая на придорожную деревню, говорит:

— А, к примеру, сказать, вот хоть бы туда, в эту деревню, дать двух или трёх? Ох, и хорошо же было бы им там, потому что деревня эта называется Сытая Волька, богатейшее селение на всю округу! Мужик к мужику, все зажиточные хозяева, и всякий весом с откормленного вола. А дети, а бабы!.. Катаются, словно шары какие-нибудь, такие круглые и толстые! Да и как толстым не быть, коли в каждой хате с утра до ночи всё варят и режут, и солят, и шпигуют, словно под Светлый Праздник, и как засядет там мужик за миску утром, так и не встанет от неё

до полудня, а если и встанет, то только для того, чтобы присесть к другой.

— Стой!.. Стой!.. — крикнул при этих словах утопающий в сене Подзёмок.

Но мужик продолжал, как будто и не слышал его слов:

— Да отчего ему и не пересаживаться от одной миски к другой, если земля такова, что сама, без помощи человека, родит сама. А сколько здесь ветчины, сала гусиного!.. И не переешь всего...

— Стой! Стой же! — ещё громче крикнул теперь Подзёмок, вылезая из сена. — Стой, когда говорят тебе!

— Что такое? — спросил мужик, точно в первый раз услышал его.

Выкарабкался Подзёмок, пылливо смотрит мужику в глаза, спрашивает:

— А не лжёшь ты, мужик?

Скробек отвечает:

— Чего мне лгать? Истинная правда, и всё тут.

— Еды вдосталь, говоришь ты?

— Ешь, сколько хочешь.

— И вкусно?

— Сметана так по бороде и течёт.

— А миска объёмистая?

— Вот как этот месяц.

А месяц только что начал заходить.

— Коли так, — говорит Подзёмок, обращаясь к королю, — то я здесь и остаюсь, милостивый король.

Он обнял королевские колени и закричал мужику, чтобы он направлялся к этой деревне.

Скробек чересчур уж усердно исполнил его приказание, зацепил колесом за камень, вся телега пошатнулась, а Подзёмок, так как он стоял на ногах, не удержался и вылетел вон.

Правда, ему не пришлось испытать ни малейшего ущерба, потому что он упал в мелкий, глубокий песок, но шуму он своим криком наделал такого, что все деревенские собаки пробудились и во всю мочь принялись тявкать.

На это тявканье отозвался один гусак, другой гусак, то там, то здесь более бдительная гусыня, за ней другая, десятая, двадцатая, потом по всем дворам поднялся такой пронзительный крик, словно загорелась вся деревня.

— Ой! Кости мои, кости!.. — кричал Подзёмок, ощупывая свои рёбра, перепуганный собачьим лаем и гусиным криком; но голос его пропадал в этом хоре так, что его и совсем не было слышно.

Скробек хлестнул лошадёнку и пустил её спорой рысью. Подзёмок встал и, осматриваясь, заметил, что рядом с ним, в песке, копошится ещё кто-то. А когда месяц выглянул из-за тучи, с величайшим изумлением увидал Чепухинского-Вздорного.

— Не обманывает ли меня зрение? — сказал Подзёмок. — Или это действительно ты, учёный муж, собственной своей персоной?

— Это я, брат! — отвечает на это Чепухинский-Вздорный.

— Неужели, сохрани Бог, ты так же вывалился из телеги?

— Э! Нет! — ответил Чепухинский. — Я выскочил только испросивши у короля дозволение. Видишь ли, брат, если здесь слышно такое гусиное гагаканье, то должны быть и самые гуси. Кажется, ясно?

— Ясно, как солнце!

— А если есть гуси, то должны быть и перья, — продолжал Чепухинский-Вздорный. — Правильно?

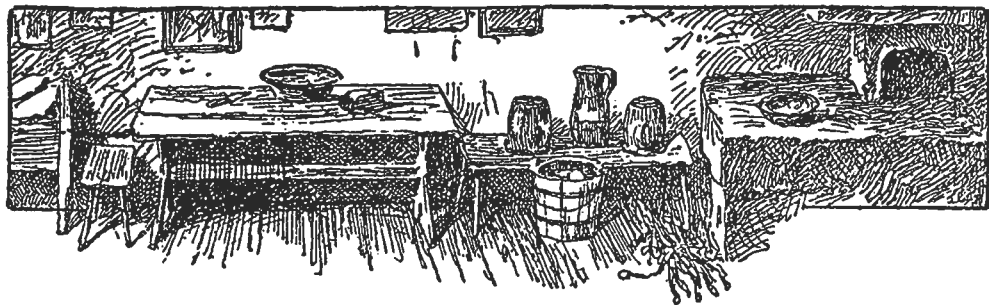
— Как дважды два — четыре, — согласился Подзёмок.

— А если есть перья, — снова продолжал учёный, — то и моя слава не пропадёт, потому что я, вместо пропавшей книги, напишу новую. Верно?

— Совершеннейшая правда! — с энтузиазмом подтвердил Подзёмок.

Но хотя он так горячо поддакивал, на самом же деле был не особенно рад, что нашёл себе товарища в деле улавливания тех жирных кусков, о которых он мечтал. И вот, спустя минуту, он заговорил:

— Знаешь ли что, учёный муж? По моему мнению, неприлично мудрецу смешиваться с неучёными людьми и садиться с ними за одну миску. Таким путём и учёность можно подвергнуть опасности. В таком случае сделаем мы так: я пойду в деревню, а ты ступай в лес. Когда наступит уже ночь, и все заснут, я приведу тебя, учёный муж, и ты подкрепишься тем, что тебе удастся найти. Хотя бы порой и не Бог знает что пришлось на твою долю, — ничего, — потому что не о хлебе едином жив будет человек! По крайней мере, твоя честь будет сохранена, а честь — это всё!



— Ты хорошо придумал, дорогой брат! — сказал на это растроганный Чепухинский-Вздорный.

И, бросившись на шею Подзёмку, он начал обнимать и целовать его.

Скверно сделалось Подзёмку (сердце у него было доброе), что его предательский совет был так безропотно принят; но так как страсть к обжорству была в нём сильней, то он тотчас же стряхнул с себя неприятное чувство, ответил Чепухинскому-Вздорному таким же горячим объятием; сам проводил его в лес, ещё раз простился, пожелал, чтобы его навещали самые мудрейшие мысли, потом, крадучись под плетнями, направил свои шаги к самой показной хате.

Кажется, никогда не бывало такого разочарования, как то, что в этой хате встретил Подзёмок.

В чулане пусто, так пусто, что и мышь издохла бы от голода, ни следа от крупы, о сале и помина нет, гусяного мяса и не снилось.

Заглянул Подзёмок в горшки — пусты; даже неизвестно, было в них вчера какое-нибудь варево; заглянул в миски, в кастрюли — то же самое.

Он как можно скорее выскочил из этой хаты и побежал в другую, но и там было не лучше. Осмотрел он и третью хату, и пятую, десятую, — везде то же самое. А спящие люди, насколько он видел их, кости да кожа.

Нигде сколько-нибудь порядочной постели, одежонка кое-какая, даже ни одной хорошей лошади в конюшне, ни коровы в коровнике. Множество таких хижин совершенно склонилось к земле и держалось только на подпорках, как калеки опирались на посох. Даже и дом старосты был не лучше других.

— Ох, бесовестный мужик! — воскликнул Подзёмок, от злобы сжимая кулаки. — Вот подвёл-то меня! Вот в беду-то я попал! Голодная Волька, а этот негодяй говорил, что она «Сытая», что здесь сметана течёт по бороде, что еды по горло. Вот тебе и еда! Вот тебе и сметана! И придётся мне тут высохнуть, как жердь в плетне. Хоть бы кусочек хлеба, хоть бы ломтик колбасы, хоть бы тарелку борща!

Уже рассветало, и бедность деревни становилась всё видней, когда Подзёмок, стоя на перекрёстке, задрал голову и начал медленно читать, что написано на таблице, прибитой к столбу.

Читает, читает и собственным глазам не верит. Затуманило их, что ли?

«Го-лод-ная Воль-ка».

Давай снова: «Го-лод-ная Воль-ка. А ну-ка, ещё раз. Опять-таки Го-лод-ная».

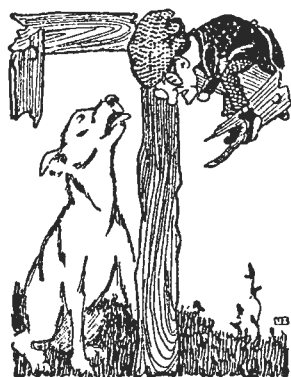
Заломил руки несчастный Подзёмок и застыл, погружённый в печаль, а солнце начало подниматься из-за леса.

Тогда он ещё раз с грустью посмотрел на столб, прочитал «Голодная» и вздохнул.





VI



ем временем Чепухинский-Вздорный, расхаживая по лесу, для того, чтобы согреться (ночь стояла холодная), напал на какой-то довольно высокий песчаный пригорок и глубоко выкопанную в нём нору. Достаточно было взглянуть один раз, чтобы решить, что это лисья нора.

Но наш летописец, прошедший весь свой век с книгами, мало понимал в этом толку.

Он остановился как вкопанный, раздумывая, что бы это могло быть. «Гора. Нет, не гора, — думал он. — Крепость — не крепость. Кто знает, может быть, это древний языческий храм допотопных краснолюдков? Очень возможно. Очень возможно!..» И он с величайшим вниманием начал обходить холм вокруг.

В это время из ямы осторожно высунулась рыжая голова с горящими глазами и оскаленными острыми зубами.

Она высунулась и скрылась опять, и опять показалась, а за ней появилось стройное туловище Обьедалы.

Обьедало с первого же взгляда узнал Чепухинского-Вздорного, но, приняв равнодушный и важный вид, сделал по направлению к нему несколько шагов и проговорил:

— Кто ты, незнакомый путешественник, и чего ты ищешь в этих местах, посвящённых науке и добродетели?

— Я придворный летописец короля Огонька из Хрустальной

пещеры и вполне к услугам Вашей милости, — предупредительно ответил Чепухинский-Вздорный.

— Ах, так это вы, учёный муж! — воскликнул при его словах Обьедало. — Какой счастливый случай приводит вас сюда? Как! Неужели вы меня не знаете? Я Обьедало, учёный автор многих книг, которого вы так любезно навестили недавно.

Чепухинский-Вздорный ударил себя по лбу и говорит:

— Как не помнить? Помню! И как это на время мой мозг мог забыть это?.. Извиняюсь, почтительно извиняюсь перед Вашей Милостью.

Он говорил «Ваша милость», потому что ему казалось совершенно подходящим называть так столь почтенного зверя, — не то что какого-нибудь встречного-поперечного.

Они заключили друг друга в объятия, облобызались, потом Чепухинский-Вздорный сказал:

— Желательно мне было бы узнать от Вашей милости, что значит тот холм, который я вижу перед собой? Не явится ли с моей стороны излишней смелостью, если я буду просить о разъяснении этого вопроса?

— О! Это сущие пустяки! — со смехом отвечал Обьедало. — Я приказал насыпать этот холм, чтобы иметь у себя под рукой достаточное количество песка для засыпания моих учёных работ.

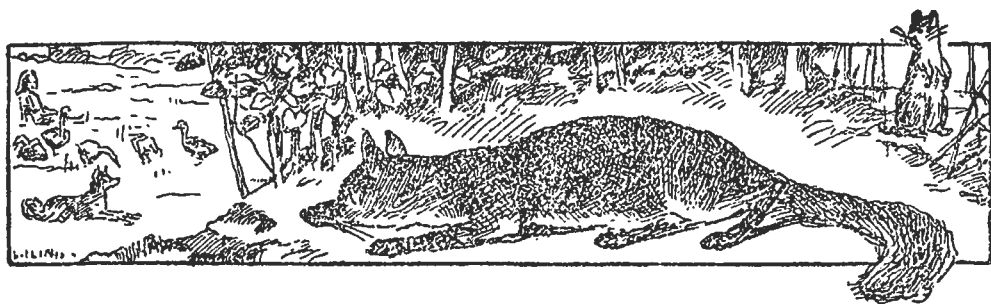
Тут он опустил долу свой задумчивый взгляд, потёр лапой лоб и скромно добавил:

— В последнее время я работал много... очень много... Ну, а как ваше произведение? — вдруг спросил он с любезной улыбкой.

— Ох! — простонал Чепухинский-Вздорный. — Лучше не будем говорить об этом. Меня встретило горчайшее несчастье, какое только может встретить писателя: книга моя уничтожена, а перо сломано.

— Сломано? — на лету подхватил Обьедало, глаза которого сразу засверкали, а зубы показались ещё более острыми. — Да ведь нет ничего более лёгкого, как найти перо, и не одно ещё. Пять, десять... Что я говорю? Я готов доставить сотню перьев почтенному коллеге за одну малую услугу, за маленькую услугу, которая не больше песчинки! И даже сегодня! Сейчас! Самое большее, через час!





Он взял Чепухинского-Вздорного под руку, начал прогуливаться с ним взад и вперёд и заговорил пониженным голосом:

— Здесь в окрестности есть собака, которую я положительно не могу выносить. Я сам не знаю, почему я питаю к ней такое отвращение, — по поводу ли её омерзительной наружности, по поводу ли её тунеядства, потому что она по целым дням просиживает без дела около каких-то семи гусенят, которым на самом деле ничто не угрожает; достаточно сказать, что я терпеть не могу этого презренного зверя и хотел бы освободиться от него хоть на два часа. А как назло, он приходит сюда вместе с маленькой, оборванной девчонкой и с теми несчастными гусятами, у которых только кожа да кости, приходит на эту лужайку, как раз против моего жилища, и своим видом отравляет мои часы, посвящённые учёным трудам. И вот, как только наступит день, раздраните его, дорогой товарищ, так, чтобы он погнался за вами и убежал бы на почтительное расстояние, а я тем временем в спокойствии dokonчу работу, которую обдумываю давно. И если это так случится, то вам будет вручён целый пук превосходнейших перьев такого достоинства, что, если вы одно из них возьмёте в руки и заснёте вечером, то, проснувшись, увидите, что целая четверть вашей книги написана. Вот какие это перья!

Чепухинский-Вздорный даже облизнулся, глаза его вдруг засветились, и он сказал:

— С удовольствием, с удовольствием! От всего сердца! Прошу вас, Ваша Милость, располагать мной, как вы найдёте удобней для себя. Я весь к услугам Вашей Милости.

Он начал раскланиваться перед лисом, наклоняясь то вправо, то влево и с величайшей сердечностью пожимая обе его передние лапы.

Тем временем предутренный туман понемногу начал расходиться, а сквозь него проглядывала чистая лазурь весеннего неба. Загагакали гуси, закричали гусыни, и там, и в этой стороне, запел петух, сидя на высокой загородке. И тотчас же, в деревушке, пробуждённой от сна, заскрипели колодезные журавли, замычал выпущенный на раннее пастбище скот, а над кровлями, крытыми соломой, начали подниматься ленты синего дыма, — признак того, что хозяйки наскребли ещё горсть прошлогодней муки и приправы для сегодняшнего обеда. Вскипятит воду, заправит мукой, прибавит кислого молока, посолит, выльет в миску и начнёт звать:

— Дети, есть идите! Вот вам ложки! Мацек, спеши, а то Вицек у тебя всё съест! Да поскорей, а то пора гусей гнать по росе на пастбище.

Через минуту слышно громкое щёлканье бичом, и слышен тоненький детский голосок:

— Живей, гусятки... живей... на траву!

Поднимается пыль на песчаной дороге, крик гусей смешивается с окриками пастухов, и щёлканье бичей широко разливается в воздухе, а надо всем этим царит пронзительный голос гусака старосты. И шествует он, размахивая крыльями, словно вождь перед войском.

Но от одной хаты спешит на лужайку маленькая стайка гусей, — четыре белых и три серых. За гусями идёт сиротка Марыся в посконной рубашонке, в голубой юбке и босиком. Убогая одежда её чиста, золотые волосы заплетены, личико чисто-начисто вымыто. Идёт Марыся по лугу так легко, что травинки почти не чувствуют её тяжести.

За Марысей бежит маленькая жёлтая собачка, весело помахивая хвостом и потягивая на гусынь, которые изъявляют желание отбиться от стаи. Благодаря доброму помощнику Марыся для своей стайки не нуждается в биче и держит только ивовую хворостину. Несёт она ивовую хворостину, идёт по белой росе и поёт милым голоском:

«...Сироте у чужих приходилось горько,
Но несла ей помощь золотая зорька;

Ей в служенье тяжком из-за корки хлеба
Помогало солнце с голубого неба...
На лужок скорей, гусятки!»

Распевая, пришла Марыся на лужок, села на пригорке, а стайка гусей расхаживала вокруг неё, гагакая и пощипывая молодую травку.

Обошёл её верный Гася раз и другой, здесь слегка куснул серую гусыню за то, что она далеко зашла в поле, там тявкнул на белую, чтобы она наблюдала за своим потомством, потом улёгся на краю лужайки и смотрит в лес. Необыкновенно бдительная собака, этот Гася!

Близкий лес ласково склонял свои верхушки перед сироткой и шептал ей что-то таинственное, словно обещался, что всегда будет покровительствовать ей.

С другой стороны холмистым клином сбегала вниз, между пастбищами, полоса пшеницы и своими колосьями кланялась лесным деревьям, прислушивалась к их шёпоту, узнавала разные вести, а потом колосья нагибались в сторону своих, к дальнейшим колосьям, чтобы повторить им то, о чём разговаривали между собой зелёные громады.

В разговоры эти вмешивались жучки, пчёлы, комары и разносили лесные вести, повторяя их по-своему, то басом, то тонким голосом.

Только один жёлтый хомяк, живущий в небольшой норке на соседней меже, не интересовался этими разговорами, деятельно работая целый день, чтобы во время летней хорошей погоды набрать запас еды на тяжёлую зимнюю пору.

И только когда он, подгрызая травы и колосья, совсем выбивался из сил, когда спину его начинало ломить от тяжести сена и зерна, — он выпрямлялся так, как мог выпрямляться этот маленький заботливый хозяин, становился на задние лапки и поводил своими быстрыми, чёрными глазками то направо, то налево, осматривая всё вокруг.

Он хорошо знал и жёлтого Гасю, знал серых и белых гусей, но не любил их за страшный шум, который гуси производили своим гагаканьем, а собака — своим лаем. Зато Марыся очень нравилась ему, а её песенки так трогали его за сердце, что, как только он слышит,



бывало, голос сироты, тотчас же бросает работу, становится на задние лапки, шевелит усами и тихонько насвистывает, точно аккомпанирует Марысе.

И Марыся знала хомяка и, зная, что он охотно слушает её песни, пела и для него также, чтобы развеселить его. И она говорила самой себе:

— Видно, что зверёк этот одинок, как и я, одинок на белом свете, и, должно быть, ему часто бывает грустно. Пусть он хоть песней моей утешится.

И она начинала выводить самым тонким голосом:

«...Как пришёл медведь кудлатый
Ко волчихе с дивом в сваты.
Едут гости без разбора
Со всего густого бора
Важною громадой...»

А чтобы хомяк ведал, что это поётся для него, Марыся ласково улыбалась ему, а он всё время стоял на двух лапках, крутил головой и тихонько посвистывал.

Хотела Марыся свести с ним более близкое знакомство, но хомяк был настолько дик, что едва только девочка двинется по направлению к нему, как он тотчас же опускается на все лапки, и поминай, как звали! Только травы да колосья задвигаются ему вслед, как вода бегущая, когда в неё бросишь камешек.

И Марыся на него махнула рукой за его дикость.

Что касается Гаси, то и он порой видел хомяка. Но он рассуждал про себя так:

«Что я буду гоняться за всяким свистуном, который стоит на двух лапах и подражает собаке, когда она служит? Должно быть, комедиант какой-нибудь, да и свист у него не свой, а чужой! Точно так же у нас в деревне свищут мальчишки, только немного погромче. И усы, сдаётся мне, привязные, потому что откуда, осмелюсь я спросить, у такого-то ничтожного создания возьмутся усы, словно как у какого-нибудь кота? Да ведь, скажем, какого-нибудь Мурлыку он и во сне не видал. Я лучше всего сделаю, если повернусь к нему задом».

И действительно, он повёртывался всегда к нему так, что хомяк видел только лишь его пушистый хвост.

Тем не менее, свернувшийся в клубок и дремлющий Гася нет-нет да и откроет то один глаз, то другой и украдкой посмотрит на хомяка.

Иногда он даже заворчит, как будто ему во время этой дремоты приснилось что-то неприятное. Но так как он был пёс гордый и слову своему господин, то, сказав себе однажды, что не станет гоняться за этим свистуном, так и не делал попыток приблизиться к нему.

Наконец, разве мало у него было работы с гусями? Выгоняй их из пшеницы, выгоняй из леса, пересчитывай каждую минуту, налицо ли четыре белых и три серых, — да для одного этого нужно иметь ума палату, чтобы справиться, как следует.

Но маленький хомяк, внимательно присматриваясь к тому, что делается вокруг, заметил, что из-за орешника, растущего на опушке, время от времени показывается треугольная морда лиса, которого он здесь раньше не видал. И он тотчас же сообразил, что лис ни к чему другому не подкрадывается, как к этим гусям, что пасутся на лужайке у пригорка.

Он задвигал усиками и сказал:

— А что если предупредить? Мне это ничего не стоит. Может быть, я и обязан предупредить? Скверно у лиса смотрят глаза, а морда — совершенно разбойничья! Только для этого я должен был бы карабкаться на горку, а это мне совсем не улыбается. Такая жара!.. Да и в это время полевые мыши могут стащить кое-что

из тех колосьев, которые я подрезал с таким трудом. Ух и трудна же моя работа! Э!.. Пусть каждый смотрит за своими делами. Нечего тут толковать! Да и гусятница не важная барыня: находит время петь — найдёт время и посмотреть. А поёт-то она хорошо, нечего сказать! Но ведь её главная обязанность не в пении же заключается. Наконец, она для того и сидит здесь, чтобы стеречь гусей... А собака? И собака тоже не важная персона. Умеет ворчать на меня и хвостом ко мне повёртываться, так и лиса в кустах увидеть может. Я ещё буду чужих гусей оберегать? Какая мне прибыль от этого? Разве что какая-нибудь гусыня прогагакает: «Покорнейше благодарю!» Великая награда! Ха! Ха! Ха! Ха!

Тут он свистнул, засмеялся и, блеснув чёрными глазками, опустил на передние лапки, а потом начал подгрызать колосья у самого их основания.

Хомяк — это деятельный хозяин и вместе с тем плохой хозяин, потому что его, кроме поля, работы на поле и выгоды, которая истекает от этой работы, ничего не интересует; он заботится только о себе, а до других ему и дела нет.

Марыся любит присматриваться к его ловким движениям, когда он тащит вдоль межи в свою норку разные запасы на зиму; ласково смотрит она на него, пока его совсем не скроют колосья, и называет своим хомяком. И только когда зверёк скроется в хлебе, она поглядит на гусей, на лужайку, потом глаза её падают на полевую гвоздику, на жёлтенькие цветочки, растущие у её ног повсюду.

В воздухе страшно душно, солнце так парит с неба, что Гася даже высунул язык и громко дышит. На лице сиротки выступила испарина, но она не замечает этого, вьёт себе венок и поёт:

«Служит днём сиротка, недоспит и ночи,
Но несли ей помощь алые цветочки,
И в печали тяжкой, в скорби величайшей,
Ей ещё поможет Иисус Сладчайший.
На лужок скорей, гусятки!..»

В эту минуту бдительный Гася тьякнул один раз, тьякнул в другой. В кусте лещины, растущем у самого леса, что-то зашуршало, задви-

галось и утихло. Гася приподнялся на передние лапы и, наставивши уши, ждал, что выйдет из этого.

Немного погодя послышался тот же шелест, и опять всё утихло.

Гася заворчал и оскалил зубы.

Но Марыся не слыхала ничего. Как птица в лесу, когда распойётся, сидя на ветке, и не видит, не слышит тихих шагов подкрадывающейся к ней кошки, так и сиротка, не видя и не слыша, что делается кругом, пела:

«Охранит от злобы благостным покровом,
Укрепит, поддержит милосердным словом,
И в тоске поможет, в безысходном горе,
Более, чем солнце, более, чем зори».

Тем временем из кустов лещины показалась странная фигура маленького человечка с красным капюшоном на голове, с седой бородой, с очками на огромном носу. Показалась она и начала манить к себе Гася пальцем. Собачонка вскочила и понеслась к кустам, но фигура кивала ему пальцем из-за другого, более дальнего куста. Гася кинулся бежать, но странный человечек в красном капюшоне оказался дальше и по-прежнему манил пальцем.

Чем более собачонка углублялась в лес, тем быстрее красный капюшон мелькал меж кустами, то вправо, то влево, наконец оба очутились в настоящем лесу, среди огромных сосен.

Гася уже настигал маленького человечка, когда тот внезапно отскочил в сторону и быстро взобрался на дерево.

Разъярённый Гася бросился к дереву с таким бешеным лаем, что Марыся вдруг очнулась от своего забытья и, слыша такой необычный лай своего верного помощника, начала в великом страхе кричать:

— Гася! Гася! — и, спустившись с пригорка, она побежала в лес.

Объедало только этого и ждал.

Одним прыжком очутившись среди гусей, он схватил за горло ближайшего и задушил, прежде, чем тот мог воскликнуть: «Спасите!» Бросив его в кусты, лис схватил другого по очереди и точно так же впился острыми зубами ему в горло, да ещё с такой свирепостью, что бедный гусь на половине крика испустил дух. Потом лис подскочил к другим гусям.



Тогда поднялся страшный крик во всей гусиной стае. Одни, узнав разбойника, спасались от него в поле пешком, другие рвались на крыльях в смертельном испуге.

Но Обьедало одним скачком настиг самую красивую серую гусыню, один раз только хватил её зубами, швырнул о землю и побежал за теми, которые не могли держаться на крыльях и падали с пронзительным криком как раз перед самой мордой лиса.

Марыся услышала в лесу этот страшный крик, завопила: «Спасите!» и, что было духу, побежала к своим гусьткам.

Тем временем Обьедало, придушив последнего гуся, облизывал окровавленную пасть и горящим взором окидывал побоище.

Словно гонимая вихрем летела Марыся из леса с руками, протянутыми вперёд; как гонимая вихрем она ворвалась на лужайку, посмотрела на зарезанных гусей и с пронзительным криком: «Иисусе!» рухнула на землю.





VII



то бы в то утро на рассвете очутился на опушке леса, тот мог бы любоваться препотешным зрелищем.

Маленький человечек в красном капюшоне выделял удивительнейшие прыжки по болоту, прилегающему к этому лесу, скакал с кочки на кочку, хватаясь за острую осоку, то появляясь, то исчезая в зыбких, поросших мхом, мочажинах.

То был не кто иной, как наш знакомец, Подзёмок. Но как он страшно изменился! От прежней основательной толщины жиру в нём осталось столько же, сколько у комара сала. Епанча висела на нём как будто взятая в долг, худые ноги, словно жерди, болтались в сапогах, то и дело сваливающихся с них, огромная голова качалась на непомерно тонкой шее, а исхудалые руки едва могли удерживать огромную трубку, в которой, вместо табаку, тлели, увы! ольховые листья.

Вот что путешествие и пребывание в Голодной Вольке сделали из нашего почтенного толстяка!

Но перемена крылась не в одном этом. Голод, который теперь сделался неотступным товарищем Подзёмка, научил его многим вещам. Он научил его также перепрыгивать с кочки на кочку, бродить по мокрой траве и искать яйца чайки. Встревоженная болотная чайка, трепеща крыльями, как раз над самой головой скачущего краснолюдка, пронзительным голосом кричала: «Киви! Киви! Киви! Киви!»

Бедная чайка! Ей сдавалось, что этим криком она отпугнёт злодея, который каждую минуту может найти её гнездо, глубоко укрытое в травах, а в этом гнезде единственное, первое в нынешнем году снесённое яичко.

Когда она своим неистовым криком и трепетанием крыльев чуть не оглушила Подзёмка, он остановился и с досадой проговорил:

— Тише ты, глупая птица! Тише, сорочья кумушка! Ты думаешь, что я из-за удовольствия погрязая в болоте? Настолько-то у меня разума осталось, что я предпочту кусок колбасы твоему яйцу. С голоду я только делаю это, с голоду, который чуть не довёл меня до горестной кончины. Поэтому и замолчи, не дери понапрасну глотки, а то я сверну тебе шею!

Тут он поник головой и грустно добавил:

— Боже Ты мой! В какие условия я попал, и что меня встречает на пути! О, проклятая Волька, которая должна была быть Сытой, а оказалась Голодной! О, неумытый мужик, который поверг меня в такое несчастье!

Он долго говорил так, когда ему вдруг показалось, что он слышит чей-то горький плач. Он сдвинул немного капюшон и приложил руку к уху. Плач слышно явственно. И как будто бы плач ребёнка.

— Провалиться мне! — сказал Подзёмок, который обладал мягким сердцем и всегда расстраивался при виде чужого горя. — Провалиться мне, если этой бедняжке ещё не хуже, чем мне! Пойду посмотрю, что там такое.

И вдруг, позабыв о своём голоде, он направился из болота к лесу и, к великой радости чайки, шёл прямо по направлению к плачущему ребёнку.

— Это ясно, что плачет ребёнок, — говорил он, всё шире и шире раздвигая на кочках ноги, именно так, как это делает аист.

Едва он выбрался из осоки, которая стояла тут сплошной стеной, как увидал возле леса небольшую лужайку и маленькую девочку, которая, закрывши лицо, сидела на пригорке и жалобно плакала. При этом виде сердце доброго краснолюдка взволновалось, он ускорил свои шаги, подошёл к девочке и говорит:

— Чего ты плачешь, милая барышня, и кто тебя обидел?



Марыся вздрогнула и, отняв от лица руки, смотрела на Подзёмка широко раскрытыми глазами, не имея возможности вымолвить слова от великого изумления.

Подзёмок заговорил снова:

— Не бойся, прошу тебя, милая моя барышня, потому что я — твой друг и желаю тебе добра.

— Иисусе!.. — прошептала Марыся. — Что это? Такая маленькая штучка, а говорит, как человек. Иисусе!.. Я боюсь!

И она уже порывалась убежать с пригорка, подняв кверху руки, как птица поднимает крылья, но Подзёмок стал у неё на дороге и сказал:

— Не убегай, потому что я — краснолюдок Подзёмок, который хочет оказать тебе помощь.

— Краснолюдок! — как бы про себя повторила Марыся. — Это я знаю. Мама не раз говорила мне о краснолюдках, что они добрые.

Подзёмок ответил на это очень развязно:

— Твоя мама говорила истинную правду. Мне хотелось бы поблагодарить её за это.

Но Марыся покачала своей золотистой головкой и говорит:

— Моей мамы нет в живых!..

— Нет в живых? — грустно переспросил Подзёмок. — Ох, и тяжёлое это слово! Самый камень легче него!

Он покачал головой, вздохнул, а немного погодя спросил:

— А как звали твою маму?

— Кукулина, — ответила Марыся.

— Кукулина?.. Ах ты, благодетельница моя! Да мы знаем друг друга! Так ты, значит, никто иная, как та маленькая Манюся, которая проливала серебряные слёзки тогда, когда меня чуть не убила злая баба. Королевна же ты моя! Вот мы где встретились! Вот где нас свела счастливая судьба! Говори, приказывай, что я должен делать, чтобы помочь тебе в твоём тяжком горе?

Но Марыся, вспомнив своё несчастье, ещё горше заплакала.

— Ничего, ничего! — говорила она сквозь слёзы. — Ничто меня не утешит!

Остановился тогда перед ней Подзёмок, заложил трубку за плечи и начал успокаивать Марысю самыми сладкими словами.

— Жаль, — говорил он, — твоих голубых глазок для таких горьких слёз, барышня.

А Марыся ответила:

— Я не барышня, я только Марыся-сиротка.

— Тем более усердно я хочу служить тебе, барышня, потому что ты сиротка. Ради Бога, довольно этих слёз! Где твоя хата, барышня?

— Нет у меня хаты. Меня выгнала хозяйка, у которой я теперь пасу гусей.

— Какая злая женщина! — сказал возмущённый Подзёмок.

Но Марыся живо перебила его:

— Нет, нет! Это я злая! Это я скверная! Это по моей вине лис передушил гусятку! О, гусятки мои, гусятки! — воскликнула она с новой жалостью и снова, закрывши глаза руками, залилась слезами.

Подзёмок отнял руки девочки от её личика и говорит:

— Слёзы тут не помогут. Нужно возвращаться в хату.

— Нет, нет! — ещё жалобней восклицала Марыся. — Я не могу, не хочу возвращаться! Я пойду, куда глаза глядят! Я в лес пойду!

— Что же ты в лесу делать будешь? И к чему такое отчаяние?

Он начал дёргать себя за седой ус, уставился в землю, а потом сказал:

— Пожалуй, я нашёл средство... Разве заплатить твоей хозяйке за гусей?.. Много их было?

Но Марыся разразилась ещё большим плачем:

— Что мне из того, коли они не живы! Коли они задушены, убиты. О, Иисусе, Иисусе!

Тогда, видя такое тяжёлое и неутолимое горе, Подзёмок сильно задумался и снова уставился в землю, дёргая себя за седой ус. Наконец он сказал:

— Ну, коли так, то делать ничего не остаётся, как идти к королеве Татре¹. Она одна может помочь тут.

Марыся при этих словах быстро подняла глаза, две голубые звезды, в которых затеплилась надежда, и спрашивает:

— А добрая она?

— Видно, сообразительна ты не по летам, — ответил на это Подзёмок, — не спрашиваешь сначала, сильна ли она, а спраши-

¹ Татры — горный узел Карпатских гор, на границе Венгрии и западной Галиции.

ваешь, добра ли? Ибо, что такое всякая сила без доброты? Ничего да и того ещё меньше. И вот когда ты так ободрила меня своим разумом, то собирайся в дорогу... а она далека и нелегка, я же провожу тебя, барышня, к королеве Татре, потому что сироте нужно оказать всякую помощь и отереть её слёзы.

При этих словах Марыся поднялась, отёрла слёзы и просто сказала:

— Тогда пойдём!

И они пошли.





Хорошие времена





I



уда повезёт нас этот человек? — спрашивали друг у друга краснолюдки, сидя на телеге бедного Скробка и горюя о своих товарищах, — о Подзёмке и Чепухинском-Вздорном, которые где-то пропали по дороге.

— К королю бы какому-нибудь удалось попасть, чтобы его величество имел подходящую компанию и достоинству его ущерба не было бы, — отозвался канцлер Кошачий Глазок.

— Вот это хорошо было бы! — воскликнул паж Мычка и облизнулся широким языком. — У королей, говорят, подают самые жирные и сладкие кушанья, а калачи так каждый день пекут. Вот бы где можно было поправиться!

— Ты бы потише! — обрушился на него Соломинка, страшно худой и тонкий. — Ты и так еле двигаешься, словно шар какой-нибудь. Того и гляди, как должность свою потеряешь, а наш всемиловитый государь возьмёт ещё кого-нибудь носить за собой порфиру.

— Королей-то в деревне нелегко найти, — прервал этот спор Василёк. — Но может быть, почтенный мужичок привезёт нас к какому-нибудь князю?

— У князей тоже большой штат, придворные, кухмистеры, — воскликнул на это Подберёзник. — Оркестр тоже всегда имеется, музыка играет, столы так и гнутся под тяжестью серебряных блюд и кубков, освещение, словно на Светлый Праздник, люди спят долго, делать им нечего, и жизнь ведут весёлую. Вот где хорошо было

бы нам! Но и князья на полевых грушах не растут, да и княжеский дворец не передо всяким стоит нараспашку, словно корчма какая-нибудь. Далеко пришлось бы нам ехать, чтобы найти князя.

— Ну, так пускай отвезёт нас хоть к какому-нибудь графу, — воскликнул на это Соломинка. — Графы также ведут жизнь хорошую и двор держат немалый.

— Да, — сказал Репейник, — а какие конюшни у них! Какие кони! Что за охотничьи собаки!

— А как там насчёт пищи? — заботливо спросил Мычка.

— Известно как; как должно быть у графа. Отличная кухня, вот и всё. На вертелех вертится жаркое из серны или из дикого кабана, пирожники пекут торты и сахарные пирамиды, золотистое вино так и льётся в кубки, а рыбу несут на столы вот на каких блюдах.

Он раскинул руки, насколько мог, а все остальные от изумления начали покачивать головами.

Петрушка, который при всяком удобном случае воспалялся, словно искра, вскочил со своего места, толкнул Скробка и закричал:

— Человек! Эй, человек, знаешь ли ты какого-нибудь графа здесь поблизости?

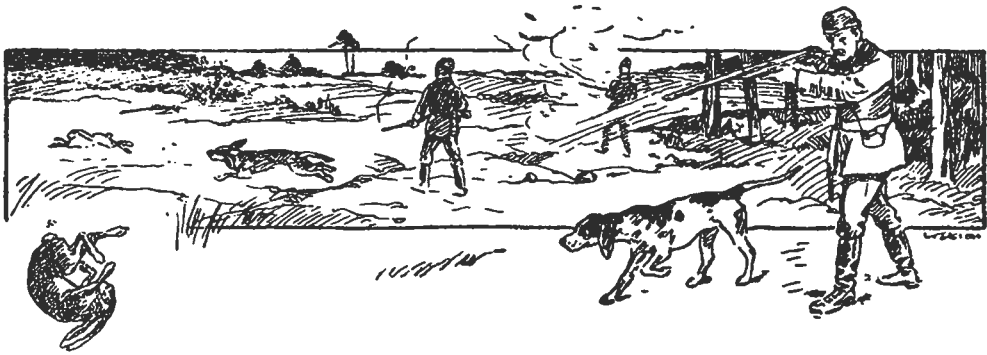
— Графа? — переспросил Скробек, почёсывая за ухом. — Никакого графа здесь не имеется.

Он помолчал с минуту, а потом, видимо, вспомнил что-то и прибавил:

— Вон там, на горке торчит какая-то развалина, то ли труба, то ли стена, там, говорят, когда-то сидели графы, но теперь там запустение, и только горожане ездят туда за кирпичом, когда понадобится. Графы, кажется, давно вымерли.

— Вымерли? — с живым сочувствием воскликнул Мычка и всплеснул в ладоши. — Смотрите, как от такого добра люди вымирают! Ну, если так, то пускай мужик везёт нас в какой-нибудь зажиточный помещичий дом, и там нам обиды не будет. Шляхтич в деревне — тоже штука немалая.

— Истинная правда, — отозвался на это Василёк. — Придёт весна, шляхтич встанет себе утром и на заре выйдет в зелёное поле; там жаворонок поёт ему весёлую песенку, там роса сыплет ему под ноги жемчужины, там цветочки пёстрым ковром рассеялись по лугам, там плуги взрывают чёрную землю, волы мычат, пахари



покрикивают — на сердце становится ясней, душа так и окрыляется. Придёт лето, возьмёт шляхтич ружьецо, выйдет на болото, дикую утку застрелит, в сумку уложит, а то в небо голубое смотрит, весёлые думы думает. А тут вокруг поля шумят золотым колосом, а тут льны цветут голубенькими цветиками, а тут сеном с лугов пахнет, а тут ягоды краснеются, и пчёлы в липах жужжат... Осень придёт — яблони, и сливы, и груши так и гнутся под тяжестью плодов, в берёзовом лесу пахнет белыми грибами и рыжиками... Утром на полях лежат туманы, солнце едва выползет, а наш шляхтич в лес, за зверем охотиться. Лес стоит тихо, слушает, как собаки перекликаются. На охотников с верхушки дерева смотрит белка чёрными глазами. Вдруг как выстрелит охотник, раз и ещё раз! Паф! Паф! Паф! Раздаётся широкое эхо, слышны радостный крик и охотничьи трубы.

— Хорошо, очень хорошо ты рассказываешь, мой верный Василёк, — сказал на это милостивый король Огонёк, который, в молчании прислушиваясь к разговору своей дружины, теперь начал ласково улыбаться. — Вот бы нам попасть в такой помещичий дом! Пусть там и не так шумно и весело будет — и то хорошо.

Старый король говорил, и сморщенное лицо его приняло трогательное выражение; но тут телега, зацепившись за камень, своротила с большой дороги на полевую, а вместе с тем и лошадёнка бедного Скробка начала весело фыркать, как это всегда делают кони, когда почуют близость дома.

И, действительно, телега вскоре остановилась, а мужик, подойдя к сидевшим в ней гномам, сказал:

— Вылезайте! И вы, королёк, и вы, остальные! Вылезайте! Приехали!

— Как? Куда? — крикнули краснолюдки, освобождая головы из капюшонов. — Да ведь тут ничего нет!

— Как ничего? — отозвался на это Скробек. — Есть моя собственная, собственнейшая хата, и этого довольно.

А в это время начало рассветать, и воздух мало-помалу стряхивал с себя ночной мрак.

Смотрят гномы: стоит убогая мазанка под покосившейся кривой, низкой, дырявой крышей, здесь соломой покрытая, там — древесными ветвями; плетень из хвороста еле-еле держится, сорной травы под ним видимо-невидимо; над травами верба, словно руки, протягивает свои длинные ветки; тут же, в запущенном саду белеют вишни, осыпанные цветом, а надо всем этим хор лягушек и громкое щёлканье соловья, который, пробудившись в ольшанике, вдруг затянул свою утреннюю песнь.

— Боже Ты мой! — крикнули гномы. — Человек, да ты дурачишься или о дороге спрашиваешь?

— Чего мне спрашивать, коли я и так знаю дорогу, — равнодушно сказал Скробек. — Вот вам хата, вот ручей и лес, кто хочет, пусть войдёт, а кто не хочет, пусть убегает с Богом!

И он тотчас же начал выпрыгать лошадёнку и вытягивать бадью из колодца, как будто тех, кого он привёз, и в помине не было.

— Чем же мы в этой пустыне питаться будем? — спрашивают краснолюдки.

Мужик, всё вытягивая бадью, отвечает:

— Дети мои могут жить, ну и вы можете. Кого Господь Бог сотворил, того не уморит с голоду.

А гномы всё своё:

— А куда же мы денем наши сокровища?

— В маковой головке сто раз по тысяче зёрнышек умещается, и им не тесно.

— А король? Куда же мы поместим нашего короля?

— Солнце-король поважнее и то не брезгает нищетой моей и каждый день золотит мою хату...

Вдруг Петрушка, который всегда был весел, а зло и добро принимал с одинаковым радушием, начал скакать вокруг телеги и подпевать самому себе:

«Под ногами — почвы грудка,
Сверху — солнышка сиянье,
Вот в чём счастье краснолюдка,
Вот в чём всё его желанье!»

Другие крикнули ему, чтобы он держал себя тише, что теперь не до шуток, и хор недовольных голосов возрастал с каждой минутой. А в это время на востоке загорелась утренняя звезда голубым, ярким светом, и мрак начал сереть.

Тогда король Огонёк поднял к ней глаза и руки и сказал:
— Благословен уголок, в котором живут бедность и труд, ибо над ним сверкают звёзды Божьи!

Он сделал мановение скипетром, и дружина его утихла.





II



изкие липовые двери тихо скрипнули, тихо вошли гномы в хату бедного Скробка вместе с жемчужным рассветом.

Комната была только одна, да и то из каждого угла выглядывала нужда. Большую часть занимал огромный камин с подпечкой; перед камином лежали бурый кот и пук сухого хвороста, связанный верёвкой.

Немного подальше стоял ушат с водой и с жестяной кружкой, пара горшков, обращённых дном кверху, занимали скамью, а возле скамьи находились сосновый стол, две маленькие скамейки и немного картофеля в кошёлке.

Потешен был вид гномов, которые, присматриваясь к этому убожеству, заламывали руки и, не смея в присутствии короля громко жаловаться, толкали друг друга локтями и показывали взглядами то на пустой камин, то на несчастную кошёлку, которая, как видно, составляла единственную кладовую бедного Скробка. Длинные носы краснолюдков вытянулись ещё длинней, усы ещё более опали, лбы покрылись морщинами, губы презрительно искривились, а сдержанный шёпот вырывался сквозь острые, стиснутые зубы.

Только один Петрушка, всегда радостный и весёлый, скакал по хате, беззаботно смеялся и потирал руки:

— Вот так дворец! Вот так барские покои! — восклицал он. — Плохо нам здесь будет? Как бы не так! Королевское жилище! Смотрите! Сквозь крышу заря светит! Смотрите, смотрите, сколько роз она сыплет на хату! Сколько роз, румяных и золотых! Смотрите! Под балкой ласточкино гнездо. Гнездо пробудилось при свете

и зачирикало. Слушайте! Весь потолок поёт. Весь потолок трепещет от птичьих пёрышек. Смотрите! Смотрите! Сквозь разбитое окошко заглядывает в хату куст сирени. Какое благоухание! Какая свежесть! Какие кисти лиловых цветов. А весь куст полон бриллиантов. На каждом листке — бриллиант, в каждом бриллианте — радуга. Не говорите мне, что это роса. Нет, нет, это не роса, это драгоценные камни. Слушайте! Соловушка в кусте сидит, ранний гимн поёт.

Но в углу хаты, на клочке соломы спали двое мальчиков. Их светлые головки тонули в золотистой соломе, посконные рубашонки, растёгнутые на груди, показывали худые и загорелые тельца. Вероятно весенняя ночь веяла на них холодом, потому что мальчики прижались и обхватили друг друга ручонками.

— Боже Ты мой! — крикнул Петрушка. — А вот и королевичи!

Подожли и другие, смотрят, и какое-то трогательное чувство, какая-то мягкость начинает разглаживать лбы и прояснять лица. Потом раздаётся тихий шёпот, но становится всё громче:

— Бедненькие!

— Убогие!

— Ох, ты, доля!

— Сиротки!..

Но король Огонёк склонил к головкам спящих ребятишек свой скипетр, благословил их и сказал:

— Растите здорово в убожестве хаты вашей! Растите под тенью сиреней и под тенью липы, под ласточкино щебетанье, растите при блеске зари. Растите, дабы вы имели силу поддержать свою хату, стены её трудом вашим наполнить. Растите здорово! — и он золотым своим скипетром прикоснулся к светлым головкам детей.

В это время Скробек, обрядивши свою лошадёнку и поставив её в стойло, пришёл в хату.

Вошёл он, в низких дверях согнул свою спину, у порога проговорил: «Да будет благословенно...» — и бросил шапку на стол.

Гномы тотчас же обступили его и с любопытством начали расспрашивать:

— Чьи это дети?

— Чьими же им быть? — ответил на это мужик. — Во-первых, Божьи, а потом мои. Мелочи этой было ещё больше, да их Господь

прибрал, когда умерла их мать. Только вот эта пара и уцелела в хате.

— И пускай они растут здорово! — сказал на это король Огонёк.

И он тут же отдал приказ своей дружине, чтобы она перенесла с телеги все сокровища под печку.

Краснолюдки поспешили исполнить приказ и начали таскать под печку свои шкатулки и сундуки и прятать их в мышьи норки, причём всё это делали так тихо, что даже бурый кот, спящий у камина, не пробудился.

Скробек смотрел на это уже равнодушным взором. При дневном свете он уже рассмотрел, что это были за сокровища: шкатулки были полны сором и маленькими камешками — больше ничего. И весь этот блеск, весь свет, все эти огни, которые ослепляли его ночью, были только прах и песчинки, а слитки золота и серебра оказались тростинами и сухими былинками.

Но когда краснолюдки, перетащив что было, сами исчезли в мышьих норках, Скробек начал стучать бичом в глиняный пол и крикнул детям:

— Эй, Куба, Войтек, вставайте, лёжни, да скорей! Не видите, что отец вернулся?

Мальчишки заворочались в соломе, начали протирать глаза и зашептали сонными голосами:

— Тятя! А что ты привёз нам с ярмарки?

Но мужик был зол, и ему было не до разговоров.

— Палку привёз! — резко сказал он.

Но в это время Кубусь сел на соломе и говорит:

— Тятя, а я короля видел!

— Короля видел? — переспросил Скробек. — Каков же он из себя?

— Да такой, как в балаганах показывают.

— Ну, тебе это только так приснилось! — сказал Скробек.

Ему не хотелось, чтобы дети знали что-нибудь о гномах и не рассказали бы соседям.

Но мальчишка продолжал:

— Право! — убеждал он. — Мне не приснилось, я наяву видел короля. На голове золотая корона, одеяние королевское, борода по пояс, а в руках такая золотая дубинка, что от неё свет идёт, как



от самого солнца. Право, тятя, я видел короля. Он шёл и по дороге сеял золото.

Тут мальчик начал бить себя в грудь и клясться, что это ему не приснилось, но Скробек крикнул на него и даже, рассердившись, топнул ногой.

— Дам я тебе короля, бездельник этакий, так, что тебе палка приснится! Вставайте живее да за хворостом в лес марш, а то мало осталось! Понимаете?

— Понимаем, — ответили Войтусь и Кубусь, вылезли из соломы, умылись из ведёрка, подпоясали рубашонки кромкой, стали на колени, прочли молитву, потом поцеловали у отца руку и, взяв за пазуху несколько вчерашних картошек, направились к порогу.

Но Скробек снял с себя ремень, поднял его кверху и спрашивает:

— Видите, что я держу в руке?

— Видим, — с великой робостью ответили на это мальчишки.

— Что это такое?

— Ну... ремень.

— Для чего?

— Для того... чтобы бить.

— А когда бьют, то больно?

— Ой, больно, тятя, больно!

И они начали тереть кулаками глаза, обнимать колени отца и готовы были вот-вот разголоситься.

Но Скробек опустил руку с ремнём и говорит:

— Помните же и повторяйте один другому, что я теперь скажу вам: если кто из вас хоть пикнет об этом короле, я такую трёпку задам вот этим ремнём, что небо с овчинку покажется. Понимаете?

— Ой, понимаем, понимаем, тятя, — хныкали оба мальчика, всё сильнее обнимая отцовские колени. — Ой, ни слова не пикнем. Не бей нас, не бей, тятя, золотой, хороший.

— Ну, хорошо уж! — сказал мужик и бросил ремень на скамью. — А теперь пошли за хворостом.

Мальчишки съёжились и тихонько выползли из хаты.

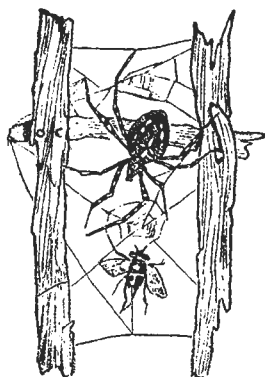
Когда они были уже за плетнём, Кубусь осторожно оглянулся на хату, потом толкнул в бок брата и проговорил:

— А короля я всё-таки видел!





III



а всё свету не было лучше того уединённого уголка, как тот, который избрал себе для жилья король Огонёк, обходя подземными норами хатку Скробка. Уголок этот, полный зелёного сумрака и свежести от больших листьев лопухов, которые разрастались здесь чуть не целым лесом, находился между запущенным вишнёвым садом, теперь сплошь покрытым цветом, и голубым ручьём, изви-
вающимся по низкому лугу.

Мазанка Скробка примыкала к саду с одной стороны, а с другой — к пустырю, до такой степени заросшему диким цикорием, царским скипетром, что всё это, давным-давно заброшенное поле издали казалось золотым и серебряным.

Но на узкой меже, которая отделяла его от ольшаника, там и здесь росли кусты шиповника, осыпанные розовыми, нежными цветами. Сколько соловьёв пело здесь по ночам, сколько их днём отдыхало в ольшанике, того никто и сосчитать бы не мог. Пробовали было перекричать их лягушки, которых здесь было несметное множество, лягушкам помогали водяные курочки и чирки, гнездящиеся среди тростников и аира над голубым ручьём, — да куда им! Хоры лягушек, водяные птицы сами по себе, а соловьи — сами по себе. Так оно и шло по целым ночам.

Не мешала им и близость хаты Скробка, о которой если кто не знал, то мог и миновать её, — до такой степени она была закрыта

ветвями плакучих верб и высоко поднявшимися травами, до такой степени глубоко ушла в землю.

Людское жильё выдавала только струйка дыма, вырывающаяся сквозь зелёный свод, когда Скробек в полдень варил картошку для себя и для своих детей; даже собака, и та здесь не лаяла, потому что её было нечем кормить, да и оберегать было нечего.

В такую хату злой человек не заглянет, а путник минует её.

Краснолюдки, хотя сначала ворчали на это убожество, скоро освоились с новым жилищем. Этот добрый и весёлый народец больше всего любит свободу и только там неохотно пребывает, где испытывает стеснение. А тут, во всяком случае, в этом уголке цветущем, полном зелени, никто им не мешал, никто за ними не подсматривал, не пугал их. Вот они и привыкли к нему, как к своей родной Хрустальной пещере, и между собой называли его «Соловьиной долиной».

Сначала тяжело было им — это правда: первые дни они провели не только в тяжёлом труде, но и в голоде. Прежде всего, нужно было найти помещение для короля, который, как по летам своим, так и по высокому положению, не мог же спать под листом лопуха, как это делали его придворные. Печалились об этом краснолюдки жестоко и кивали головами, обходя всю долинку вдоль и поперёк.

Чтобы лучше осмотреть её, Петрушка вскарабкался на толстую вербу и заметил, что ствол этой вербы с дуплом.

Сейчас же ему пришло в голову, что с небольшими усилиями королевское жилище можно было бы и там устроить. Краснолюдки деятельно засуетились, одни очищали дупло, другие таскали всё, что могло послужить к удобству и украшению, и в тот же самый вечер его величество, король Огонёк, имел великолепную комнату, в которой ему было не только удобно, но и мягко, и спокойно. Мхи зелёные и бурые бархатом устилали всю её внутренность; по стенам были развешаны прозрачные занавеси из хрустальных кружев паутины, мерцающих всеми цветами радуги, у входа висел ковёр, сплетённый из серебристого ковыля, а полевые цветы и растения дивным благоуханием наполняли всю эту монаршую резиденцию.

Старый король снял корону, чтобы дать отдых утомлённой голове, повесил её на сук, а скипетр поставил в угол. И вдруг брил-



лиант, которым был украшен скипетр, заискрился таким чудным блеском, что, казалось, в этом истлевшем пне засверкало солнце.

Тогда старый король, взгляд которого был утомлён созерцанием явлений этого мира, повелел закрыть бриллиант ольховым листом, проходя через который, свет смягчался и походил на милое лунное сияние. И при таком мягком, зеленоватом свете приятно отдыхал себе старенький король, размышляя о долгих годах своей жизни, в течение которых он делал добро и нагромождал сокровища земли для того, чтобы они не шли в руки злых людей, на услуги злым делам.

А тем временем верная королевская дружина разместилась лагерем между разросшимися корнями вербы, в каждую минуту готовая на королевский призыв, и устроила себе такое удобное помещение, что можно было и от дождя укрыться, и полуденной порой в тень спрятаться, и на чистые звёзды посмотреть вечером — а это гномы в особенности охотно делают.

Но с живностью дело обошлось не так-то легко. День или два приходилось так туго, что Мычка, ни малейшего поста не выдерживающий, так и заливался слезами. Но и в этом случае время принесло добрый совет.

Осмотревшись вокруг, краснолюдки убедились, что окрестность, хотя запущенная и дикая, имеет всё-таки свои запасы, и немалые. В ольшанике вырастали жёлтые весенние грибки, так называемые лисички, дозревала земляника; в старом, запущенном саду и там, и здесь сочился клей из коры вишнёвых деревьев; в траве можно было найти вкусные зёрнышки, — укроп давал их в особенности много; из молодых листов клевера можно было приготовить отличный салат, а разные коренья, хорошенько



очищенные, могли сойти за варшавскую майскую спаржу. Питались краснолюдки вкусно и обильно, и всякий из них готов был пройти хоть целую милю, чтобы принести королю что-нибудь приятное.

Но с этим ростом хозяйства надлежало подумать и о порядочной кухне. Правда, гномы зажигали огонь на камешке, но роса и дождь часто заливали его. И вот, недолго думая, Петрушка занял большую пустую раковину, из которой хозяин неизвестно куда отлучился, слепил над нею трубу из глины и песка, запер её на ключ, и получилась такая кухня, лучше которой и на свете не видало.

Всегда так бывает, что, когда труба дымится, то и друзья явятся, и на этот раз случилось то же самое.

Уже давным-давно над ручьём, под лопухом проживала одна лягушачья семья, к которой принадлежал Полубоярин.

То был господин заносчивый, суетный и жадный на почести. Мне ужасно грустно, что об этом Полубоярине я ничего хорошего сказать не могу; но когда я думаю о нём, то должна видеть его таким, каким он был в действительности: важным и надутым, как пузырь. На всём берегу ручья не было лягушки, которая так бы раздувала горло и квакала бы о себе так громко, как этот Полубоярин. Нужно прямо сказать, что он ничего другого не делал, как только, выставившись на солнце, рассказывал всем, — хотел ли кто слушать, нет ли, — из какого он рода, какой у него чудный голос, какой у него ум и музыкальный талант.

Противный самохвал! Иногда его слышно было даже в другой деревне.

И вот тогда-то Полубоярин втёрся к гномам, начал рассказывать им о себе дивные дива, льстил им, а сам только вынюхивал, откуда жареным запахнет. По временам он и скрипку с собой приносил, чтобы играть старому королю за ужином и наводить его своей музыкой на добрые мысли.

Тогда начинались разные забавы, а краснолюдки всё больше и больше сближались с лягушкой, которая раздувалась так, словно не полубоярином была, а боярином, как следует.

Тогда огонь так и валил из печки, столь искусно устроенной Петрушкой, еды и питья было вдоволь, а вкусные запахи расходи-

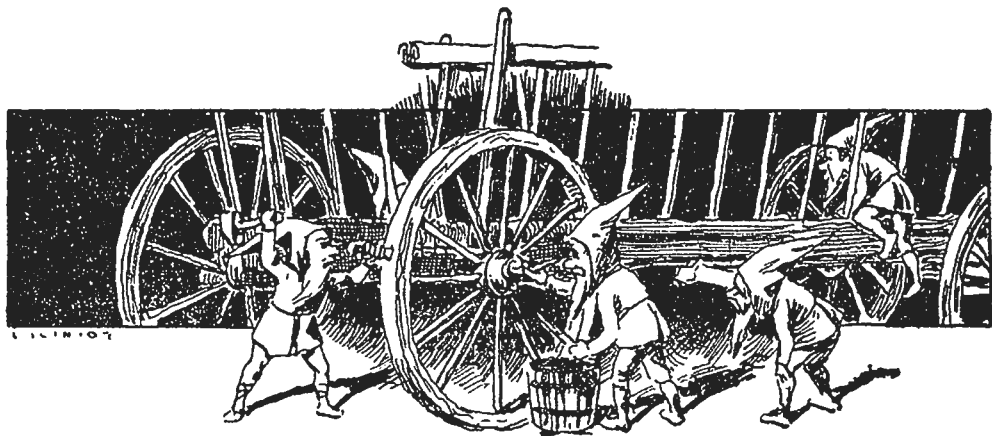
лись так далеко, что бурый кот, дремлющий у камина в хате бедного Скробка, содрогался, морщил спросонку нос, а Войтусь и Кубусь, голодные, ещё крепче прижимались друг к другу и спрашивали: «Откуда это так отлично пахнет?»»





Концерт лаэстро Сарабанды





I



тарый король много думал, раздумывал над тем, как бы наградить бедного Скробка за то гостеприимство, которое он уделил в своих углах ему и его дружине.

Краснолюбки неохотно раздают золото, серебро и драгоценные камни, вручённые им на хранение. Они предпочитают помогать трудящимся в работе, потому что и дарителя, и одарённого это в одинаковой степени облагораживает.

Но как тут помогать бедному Скробку в труде, коли в его хозяйстве и рук приложить не к чему — такая нужда!

Сам Скробек, как только возвратится домой и осмотрится вокруг, то опускает руки. В углах валяется сор, у потолка грязная паутина, камин весь облупился, перед ним куча пепла, лавки и стол грязные, стены ободранные.

— Нужды здесь больше, чем силы моей! — говорил сам себе Скробек. — Хотя бы я взялся приводить всё это в порядок, поможет ли мне это? И так мне скверно, и так не будет хорошо. Лучше закурить трубку!

Он тогда закуривал трубку или валялся на свой тощий матрац и засыпал.

Скробек был незлой человек, но, придавленный нуждой, он не мог подняться. Просто-напросто он усомнился в себе. Например, поле,

лежащее в запустении, при работе могло бы пропитать и его, и его детей. Но так как на нём было множество старых пней, камней, и всякой сорной травы, то Скробек и не имел отваги приняться за него.

— Вот, — говорил он, — если бы у меня был хоть один клин под картофель, то я лучше справился бы с ним, чем со всем этим полем. Хоть руки по локоть обгрызи, ничего не поделаешь. Окопать его нужно, воду спустить, корни выкорчевать, сорную траву уничтожить и только тогда приняться за пахоту. А что я сделаю? Есть у меня подходящий топор? Есть лопата? Есть плуг? Есть борона? Есть ли что-нибудь, кроме тех двух картофелин, которые мне приходится съесть не только без масла, но даже подчас и без соли? Эх! Эх! Не под силу для меня! Нет!

Он закладывал в телегу лошадёнку и ехал в город, чтобы заработать там несколько грошей.

Но невелик был заработок его. Как съест, бывало, кусок хлеба, купит лошади горсть овса, заплатит шоссейный сбор да ещё вдобавок заглянет в корчму, так и вернётся домой с пустым мешком. И так всякий раз. Детям редко перепало что-нибудь от его поездок.

Так как лошадь составляла единственное достояние Скробка, то король Огонёк повелел своим гномам хорошенько чистить её скребком по ночам, вытирать ей шерсть росой, копыта смазывать комариным салом, гриву заплетать и расчёсывать, в кормушку класть самой мягкой травы, а если можно, то и клевера, поить ключевой водой, подстилать мох и сухую хвою, отгонять мух и оводов и учить хорошей иноходи.

Те люди, которые раньше знали эту лошадь, дивились, что за перемена произошла с ней.

— Да ты, Скробек, должно быть, обменял её на другую и немало дал в придачу! — спрашивал у него то один, то другой.

Но Скробек только усмехался, потому что слышал от деда-прадеда, что, если где поблизости поселятся гномы, там кони на славу: воду на них лей — не намокнут: такие справные!

И телега Скробка была теперь в лучшем порядке. Бывало, стоит тихая, тёмная ночь, а на дворе Скробка и ясно, и шумно. Здесь Василёк колёса моет, там Соломинка дрожины подправляет, а в другом месте Мычка оси смазывает, или Подберёзник



на собственном огне новый шкворень куёт. Такая работа идёт, словно на господском дворе!

А когда ночью королевская дружина так деятельно работает, старый король уходит в лес, чтобы дожидаться рассвета и наблюдать за ребятишками Скробка, когда они пойдут за хворостом.

Бор стоял густой, глухой, и только по его верхушкам тихо шумел ветер, колебал чёрные сосны и вещал какие-то великие, мощные слова.

И вот по узкой тропинке, в этот сумрак и холод врывались, точно два солнечных луча — то Кубусь и Войтусь, с растрёпанными волосами, в льняных рубашонках, подпоясанные кромкой и босиком, являлись на свою работу. Прибегали ребятишки со смехом и детской болтовнёй, а бор утихал и слушал. И открывались над русыми головками неизмеримые своды сосен, и наклонялись к ним могучие кроны дубов, и шептали им дрожащие листки белых берёз, и в самых отдалённых, тёмных уголках слышался тихий шум: «Дети! Дети! Дети!»

Но даже и этот шёпот нагонял страх. Кубусь и Войтусь в угрюмом сумраке бора смолкали, словно птенцы, принесённые в тёмную комнату. Но странное дело! Прежде мальчишки должны бывало порядочно побродить по лесу, чтобы найти ветку хвороста, а теперь, куда ни посмотрят, лежит она, не слишком большая, не слишком малая, как раз им под силу, точно её ветер принёс. А какая смолистая. Смола так и просвечивает, словно янтарь. Как весело будет трещать огонь в камине от таких веток! Радуются дети, раскидывают верёвку на тропинке и складывают сушь; как быстро, как споро идёт у них дело!



И опять сущие чудеса! В сухих листьях на тропинке блеснул прошлогодний орешек. Ветер ли принёс его из лещины? Белка ли упустила его, бегая по деревьям? Мальчики разбили его о камень и поделились белым, сладким зёрнышком, а тут, глядь, — другой, третий, целая кучка орехов, все как на подбор. Радуются дети, и становится им всё веселей. Кубусь убежал в сторону, совсем скрылся в зелени, и только слышен его звонкий голос.

Но вдруг он крикнул:

— Господи, Ты Боже мой!

Войтусь бежит к нему, смотрит, у мальчика губы трясутся, слова вымолвить от страха не может.

— Чего ты кричишь? — спрашивает Войтусь.

— Король был. Король! В золотой короне! Вон там, за кустиком стоял, в красном платье, светился, как огонь.

— Где? — спрашивает Войтусь.

— Вот тут... тут! — показывая пальцем, говорит Кубусь.

И потом он опять закричал:

— Ягоды!

Смотрят мальчики, — правда! Ягоды краснеются, словно кто их нарочно насеял.

Чудеса! В этом лесу ягод никогда не бывало, а теперь, смотрите, сколько их!

Едят мальчики и о страхе забыли; таких отборных, румяных и сладких ягодок они ещё не видали за всю свою жизнь.

Подкрепились они, связывают хворост, пора возвращаться домой. Прежде немало бывало ахов и охов, трудно и взвалить себе на плечи ношу, а не то что идти с нею.

А теперь вязанки кажутся такими лёгкими, как будто половина тяжести убыло.

— Мало, что ли, хворосту, что так легко идти? — спрашивал Войтусь.

А Кубусь отвечал на это:

— Или мы после этих орешков и ягодок сделались такими сильными?

Кубусь помолчал с минуту, потом и говорит:

— Войтусь!

— Что?

— Не говори дома о короле, что я его видел, а то тятя опять за ремень возьмётся...

— Зачем мне говорить?

И таким манером они возвращались домой.

Порой по дороге их встречали бабы, останавливались и смотрели им вслед.

— Скробковы ли это ребятишки или не Скробковы? Что они так переменились? Побелели, выросли. Как будто и не они.

— Чему же тут дивиться? Может быть, покойница мать вымолила у Господа Иисуса, чтобы Он отпускал её к детям, и ночью ухаживает за беднягами.

— Должно быть что так...

— Конечно, не иначе.

Бабы покачивали головами и шли дальше. А того никто и не знал, что это король гномов так заботился о сиротах, чтобы отблагодарить за гостеприимство.

Но старому королю это казалось очень малым, почти что ничем. Такое уж у него было благородное сердце. И вот он начал думать, как бы приохотить бедного Скробка к работе около поля и как бы помочь ему в этом.

Однажды вечером возвращался Скробек домой, а луна светила вовсю. Смотрит мужик, а его пустырь стоит в серебряном блеске, точь-в-точь так, когда жито созреет, а полные колосья склоняются при тихом ветре... И это глазам Скробка предстало так неожиданно и так волшебным, что он бросил уздечку на шею своей лошади и побежал на поле, глазам своим не веря, с бьющимся сердцем и с такой надеждой, как будто он и вправду сеял жито и вот наконец дождался раннего урожая. Прибежал он и видит, что это только метлица светится в лучах луны.

Повесил мужик голову, остановился на месте, грустно задумался, вздохнул и возвратился на телегу.

Но этот пустырь, словно покрытый созревающей рожью, так и не выходил из его глаз. И ночью ему снилось то же самое.

Немного спустя, ранним утром идёт Скробек в лес вырезать оглоблю, и вдруг его поразил какой-то великий блеск. Смотрит он, а его поле горит словно расплавленным золотом, как это бывает, когда созреет пшеница, золотистая пшеница, сгибающаяся под косой, чреватая белым зерном.

Удивился мужик, остановился, смотрит — мурашки у него по коже пробегают. Караул! Да ведь это не что иное, как пшеница!

Подбегает он ближе, смотрит, — а это раннее солнце так разрисовало золотом запущенный пустырь.

Постоял мужик, подумал, заломил руки так, что даже кости затрещали, и, вздыхая, возвратился домой.

Но пустырь, сверкающий золотом пшеничных колосьев, не выходил из головы: куда бы он ни пошёл, где бы ни остановился, он только и думал, что о нём.

— А что? — говорил он самому себе. — Может быть, там и пшеница родится? Кто её знает? Может быть, и родится? Земля там должна быть сильная. Отдыхала сотни лет. С дедовских-прадедовских времён никто там не пахал, не сеял... Пустырь, да и пустырь... А кто его знает?

Задумался теперь бедный Скробек и по целым часам блуждал вокруг поля, считая и соображая, как бы приняться за работу, чтобы обратить этот пустырь в пахотную землю.

— Тяжело! Тяжело! — повторял он вполголоса, смотря на огромные пни, глубоко сидящие в земле, на дикие кустарники, на большие камни, которые будто выросли глубоко в землю.

— Тяжело, тяжело! — вздыхал Скробек и уходил домой.

Но едва он уйдёт, как его снова что-то тянет к этому полю, и он идёт снова и снова, глядя на дикие кустарники, вздыхает, покачивает головой и шепчет:

— Тяжело, тяжело! Не по моим силам!

Так прошло две недели, мужик даже похудел от борьбы со своими мыслями, которые то притягивали его к запущенному клочку поля, то отталкивали назад.

По временам Скробек ожесточался и по три, по четыре дня не ходил на пустырь. Но тогда он чувствовал так, как будто совсем забросил своё хозяйство.

Мало того, перед его глазами ещё живее представлялись серебряные колосья жита или золотистой пшеницы. Он будто слышал шум этих колосьев.

— Тьфу! Колдовство, что ли, какое!? — и он брался за какую-нибудь работу.

А на другом конце леса, над речкой стояла лесопильная мастерская, недалеко от большой дороги.

Много нужно было подвозить туда брёвен, из которых резали широкие и длинные балки. Скробек охотно занимался этим и, благодаря своей доброй лошадке, имел недурной заработок. У него уже в горшке, спрятанном под полом, завелись кой-какие деньжонки.

Но деньги эти были не так для него дороги, как те, которые он выручил бы от продажи хлеба.

Кто заработал эти деньги? Он и лошадь.

А ну, как на него или на лошадь нападёт болезнь? Он невечен на белом свете, и конская жизнь короче человеческой. Что же после них обоим останется ребятишкам? Нищета, и только! Вот если бы обработанное поле! Ну, тогда было бы наследство, как следует...

И вечером, возвращаясь с тяжёлой работы в лесу, Скробек волей или неволей шёл к своему пустырю и долго смотрел на него.

Видя это, старый король радостно потирал руки, довольный тем, что золотым и серебряным блеском он приворожил к сердцу Скробка клоч дикой земли.





II



днажды в Соловьиную долину приобрёл музыкант из музыкантов, славный скрипач Сарабанда. Играл он так, что во всей округе и сравняться с ним никто не думал.

Ни Шмуть, который гудит на контрабасе в корчме каждое воскресенье, ни Франек, который ходит по свадьбам со своей скрипкой...

Может быть, один Ясек, пастух, у которого была ивовая дудка, на которой он играл целый день, — может быть, этот пастух мог сколько-нибудь равняться с Сарабандой. Да и то не во всём!

Пускай никого не удивляет, что маэстро Сарабанда в своём сером плаще казался обыкновенным полевым кузнечиком.

На видимость никто не обращает внимания из тех, у кого есть разум и кто смотрит в суть дела. Правда была в том, что маэстро Сарабанда играл так громко и так трогательно, что не только во всём поле его было слышно, но и в собственной душе.

А как всякая музыка, когда она западёт в глубину души, облекается там в собственные слова, так и теперь случилось.

Когда Шмуть гудел в корчме на своём контрабасе, то за целую милю ясно было слышно, как что-то кричало из этого контрабаса.

«Пей, бедняк,
Пей упрямо!
Смерть подходит,
Роет яму.

Смерть стучится
В дверь рукою, —
Что ты выпил,
Всё с тобою»...

А когда Франек, идя на свадьбу, играл на своей скрипке, то ясно было слышно, как в этой скрипке что-то смеялось во всё горло и подпевало:

«За весёлый танец, смелый
Дам тебе дукат я целый,
Пусть играют спозаранку
Скрипки, басы без устанку.
Гу-га!

Эх, тяжёлая работа,
Изобрёл тебе на что-то
И придумал дедко старый,
Не найдя для танца пары.
Гу-га!»

И вот, молодые и старые бросали работу и бежали слушать музыкантов и посмотреть на общее веселье хоть из-за угла, если кто сам не мог танцевать. Тогда в деревне работа останавливалась на день, на два, на три дня, а время тихо шло, шло и уходило, унося с собой хлеб насущный.

А когда Ясек играл на своей свирели, то в сердце делалось ужасно грустно, словно как будто кто вздыхал и жаловался. И тогда тоже ясно было слышно:

«...Эх, горе и мученье,
Не нива — запустенье.
Навевял вихорь чёрный
Травы нам много сорной.
Эх, доля моя, доля.
Уж не косить мне поля...
Уйду я по дороге,
Куда потащат ноги!...»



А когда свирель Яська так играла, у людей при работе опускались руки, плуг казался страшно тяжёлым, земля — бесплодной и твёрдой, коса — тупой, и всякая охота к труду пропадала так, как будто человек страшно заработался.

Но у маэстро Сарабанды дело было не так. Он настолько близко сидел около земли, что хорошо знал её мощь и всю её доброту и кротость, и об этом только умел петь и играть. Ранним ли утром, вечером ли — во всякое время он пел о полях, лесах и ручьях и пел так, что это шло прямо в душу.

Бедный Скробек сидел однажды на пороге своей хаты, задумался, загрустил, и душа его растрогалась и наполнилась любовью к этой бедной хатке, которую он получил в наследство от дедов-прадедов.

А солнце только что заходило.

Краснолюдки выползли из своего уголка посмотреть на золотистый круг, на ясную зарю, на лиловую прозрачность воздуха, а музыкант сидел на пригорке и, засмотревшись на закат, начал играть и петь.

Слушает Скробек, бренчит что-то в воздухе, словно серебряные гусли, а из бренчанья этого выходят слова, такие тихие, как будто нащёптывает их само сердце, в груди, или как будто сама душа.

Удивился мужик, слушает; а голос, сначала тихий, становится всё громче, всё шире, всё проникновенней, и полилась песня, как звук органа, по полям, по лесам, и охватила реки, луга и ручьи, и зашумела листьями полевых груш и лесных дубов и шёпотом трав, и потекла волной той музыки, которая играет в вечерней тишине. И загремела могучая песнь, словно исторглась она из миллиона грудей, и устремилась к небу, и словно миллионы сердец бились в ней и звучали:

«...Ой, нива родная богата,
В ней много серебра есть и злата,
Все будут довольны и сыты,
Лишь только её возлюби ты!..

Слезами и кровью вспоёна,
Ты всех приютила у лона,
Ты жизни даёшь свои силы
И сыплешь цветы на могилы.

Ой, плугом из кованой стали
 Давно уж тебя не пахали,
 Давно в твои недра отборной
 Пшеницы не сыпались зёрна!»

Слушал эту песню мужик Скробек и вдруг почувствовал в себе такую силу, какой у него до сих пор ещё никогда не было. И такую горячую, душевную любовь он почувствовал к своему клочку земли, какой до сих пор у него никогда не было.

Ему казалось, что у него выросли сто рук для корчевания, для пахоты, для всякой тяжёлой работы, и его сердце растаяло в гигантской любви к своему запущенному, убогому наследству.

Встал он с порога, посмотрел на свет Божий пытливым, твёрдым взглядом, протянул вперёд руки, сжал кулаки и прошептал:

— Эх, земля, земля! Эх, работа, работа! Поборюсь я с тобой... И да поможет мне Господь Бог!..





Василёк и его ученик





I



е мог вынести Полубоярин успеха маэстро Сарабанды. Он и прежде был зелен, а теперь ещё вдвое позеленел от зависти.

— Как! — говорил он. — Какой-то проходимец, какой-то бродячий сверчок будет подвизаться в стране, где все рукоплескания принадлежат мне по праву? С каких это пор дозволяется первому попавшемуся бродяге затуманивать слушателей и каким-то там стрекотанием портить их вкус и отбивать от моей музыки? Это совершенно возмутительно!

— Послушайте! — вдруг обратился он к Васильку, который был свидетелем его жалоб. — Смилуйтесь вы надо мной и во что бы то ни стало добудьте мне ноты, по которым играет Сарабанда, и вы увидите, что я перещеголяю его, за пояс заткну. Я эту самую песню выучу так, что весь мир узнает, что такое значит какой-нибудь ничтожный Сарабанда и что такое значит Полубоярин. Дорогой мой, сделайте это! Прошу вас, помогите мне!

Василёк был всегда очень деятелен, бросился за кузнечиком, уходящим со своей чародейской скрипкой, схватил его за полу тёмного плаща и начал вымаливать ноты той чудной песни, эхо которой ещё дрожало вокруг в полевых травах, орошённых росой.

— У нас есть очень способная лягушка, — говорил Василёк, — и мы желаем сделать из неё придворного музыканта его величества, нашего всемилостивого государя. Его величество король, будучи



уже в преклонных летах, подвергается приступам тоски и грусти, а такой прекрасный музыкант развлекал бы в его меланхолии.

— С удовольствием, я очень охотно исполню вашу просьбу! — отвечал Сарабанда. — Вот эти ноты, возьмите, пожалуйста... Однако, в этих нотах заключается не вся песнь. Остальное, чего там недостаёт, надо петь из души. О, это не представляет никакой трудности! Достаточно только посмотреть на зарево вечерней зари, достаточно почувствовать запах полей и лугов, достаточно вслушаться в тот великий хор, каким звучит полевая тишина!.. Очень, очень легко! Вот ноты, возьмите их, пожалуйста... Мне очень приятно... Ваш покорнейший слуга!

И великий музыкант ушёл поспешными шагами, оставив Василька с нотами в руках и с великим удивлением в сердце, потому что виртуоз из виртуозов был так прост, так любезен, а при этом так несмел, некрасноречив и, пожалуй, даже неуклюж.

«Ну! — подумал он про себя. — Полубоярин прав. Уж если этот простак считается славным музыкантом, то что же выйдет из нашего Полубоярина, у которого и рост не такой, и фигура, да и вообще, вся наружность?»

И он поспешил возвратиться в Соловьиную долину, где его ожидал Полубоярин.

Май уже кончился, и было жарко, когда наш зелёный музыкант начал свои концерты. Он избрал себе место в тени одного гриба, над самым берегом ручья, сидел там, как под зонтиком, и каждый день упражнялся в пении. Но так как он постоянно терял такт, то истомлённый жаром и обливающийся потом Василёк должен был выбивать этот такт, помахивая палочкой, выломанной из тростника.

Какой шум был при таких уроках, какие фальшивые, дикие тона извлекались при этом — того и описать невозможно!

Лягушка ревела, как обезумевшая, Василёк махал своей палочкой, словно три бабы, когда они колотят у ручья вальками бельё, а жуки, мухи, комары, даже воробьи — всё это улетало с пискom, с жужжаньем, с трепетанием крыльев, чтобы как можно дальше уйти от этого несчастного гриба, под которым пел Полубоярин.

Но убежать от этого могли не все. Тут же, у самого берега ручья, жили водяные лилии, которым не дозволялось оставлять свой прохладный голубой дом. Не имея возможности никаким манером устраниваться от этого шума, они выставляли свои белые венчики,



умоляя всем святым, чтобы их хоть на минутку оставили в покое, чтобы хоть на секунду ничто не нарушало тишины.

— Усерднейше умоляем вас, милостивые господа! — говорили они кротким и вежливым голосом. — С того времени, как вы, милостивые господа, посвятили своё время музыке, мы живём в вечной тревоге, в вечном беспокойстве, словно как на мельнице. Мы не хотим доставить вам никакой неприятности, но нам никак невозможно утром молиться восходящей заре, ни слышать, как ландыши в ближайшем лесу звонят свою вечернюю молитву. У нас перепутался весь порядок дня... Вы, милостивые господа, наверно, знаете, что мы ткём в кроснах серебряные нити для вуалей послушниц, пока ещё замкнутых в зелени почек; и вот наши нити в кроснах рвутся от несносного шума, который вам угодно производить как раз перед нашей калиткой. Мы пробовали прятаться поглубже в воду, чтобы там хоть немного насладиться тишиной и спокойствием, но без солнца нам жить никак невозможно. Не обижайтесь на нас за нашу просьбу. Мы признаём великий талант господина в зелёном платье и силу, очень большую силу господина в голубом платье. Но так, как теперь, мы жить никоим образом не можем. Нервы наши нестерпимо страдают от этого.

Тут они присели и скромно спрятались под большие круглые листья, которые служат им вуалью.

Но тростники и очереты не были так вежливы. Те сразу начали стучать своими палками и бряцать длинными мечами.

— Кто это так шумит, точно с него шкуру обдирают? — восклицали они. — Неужели вы не видите, что нас здесь стоит целое войско, а не шумит, как двое вас! Ну-ка его палкой! Ну-ка его саблей!

— Гей, рядовые! Зашуметь золотыми кистями! Пусть этот буян узнает, что значит настоящая музыка. Загребите, наши литавры, заиграйте, наши трубы!

И очерет наклонялся с широким, громким посвистом, тростники бряцали широкими саблями, а ветер, ворвавшись среди них, странную музыку наигрывал на них и шумел такой угрозой:

«...На корточках тихо
Сюда подползай...
Стоим мы на страже,
Пароль подавай...
В засаде стоим мы,
Наш меч вознесён...
Пароль подавай нам, —
Не знаешь, так вон!»

Эта странная музыка, похожая на цыганскую, сначала тихая, а потом растущая и крепнущая, с минуту, словно ураган, потрясала очеретом, потом, мало-помалу стихая и умолкая, рассеивалась, как будто её и не было.

Но, обуянный завистью и гордыней Полубоярин не обращал внимания ни на угрозы вооружённых тростников и очеретов, ни на покорные просьбы белых водяных лилий. Напротив, чем громче были просьбы и угрозы, тем запальчивей он кричал, чтобы заглушить их, так что его горло раздулось, как наполненный пузырь.

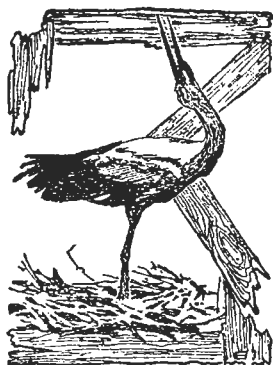
— Побойтесь вы Бога! — кричал испуганный Василёк. — Сдержите на время ваше пение, потому что вы лопнете на моих глазах.

Едва он сказал это, как вдруг... крах... кожа, натянутая, как на бубне, лопнула, а Полубоярин как сидел, так и свалился, вздохнувши только один раз.





II



нойный, горячий был полдень. Косцы докашивали луга. Их длинный ряд подвигался ровно; ровно напрягались их спины и плечи в льняных рубашках, блестящих на солнце; ровно шли ясные косы, подрезывая траву как раз у самой земли. На меже, под полевой грушей, стояли глиняные кувшинчики с золотистой земляникой и густым молоком. Дети, которые собрались сюда из хат, то играли в разные игры, то, целой кучкой усевшись на пригорке, в своих голубых исподних и красных рубашках, казались букетами васильков и мака.

Вдруг они смотрят, а из леса спешит к ним какой-то маленький человек и прямо идёт по направлению к кувшинам.

То был Мычка, паж его величества короля Огонька. По милости своей толщины он не в состоянии был вынести жару, взял ложку и миску и шёл к косцам, чтобы похлебать кислого молока и до некоторой степени освежиться.

Дети трусили, а он присаживается к первой попавшейся миске, забирает золотой ложечкой молока и кладёт в золотую мисочку. Она уже была у него полна, и он собственно соскребал с краёв сметану, когда в воздухе раздался тонкий хор множества тонких голосов:

— Нашего музыканта нет в живых!

Услышав этот крик, Мычка ложку и миску уронил в траву и, как стоял, так бегом и помчался в пущу. Дети только теперь заметили его красный капюшон, который развевался вслед за ним.

— Гном! Гном! — завизжали они все вместе и, словно испуганные воробы, с криком побежали по направлению к деревне, в то время,

как золотой прибор, который служил Мычке и который он бросил в траву, покатился под орешник и остался там.

В Соловьиной долине было страшное замешательство, когда Мычка добежал туда. Кто был жив, всякий спасал Полубоярина и искал в нём дух. Одни трясли его, другие оттирали, третьи с боку на бок переворачивали, четвёртые жгли у него под носом вороньи перья, а Петрушка, бегая взад и вперёд к речке за водой, обливал и больного и вместе с тем и ухаживающих за ним.

Но все старания не приводили ни к чему — Полубоярин лежал без чувств, без души. Глаза его побелели, лапы отвисли, труп — и больше ничего! Только в землю хоронить.



Тем временем шла по лесу старушка, собирала травы. Она была суха, как хворостина, лицом темна, словно гриб, растущий под пеньком, и так сгорбилась от дряхлой старости, что и головы поднять от земли не могла. Старушка стучала посохом, который помогал её немощным ногам, а когда встречала какую-нибудь травку, то говорила ей сухим, тихим голосом:

— Росянка ты, росянка! Тысяча листочков на тебе, на каждом листочке капелька росы, в каждую росинку посмотрелось солнышко, силу тебе дало, силу великую. Хороша ты от глазной боли, хороша для молодых и старых, иди в корзинку!

И старушка срывала горсть свежей травы и, тихо шепча, шла дальше.

Потом она начинала снова:

— Ох ты, травка зелёная, молодильник ты, молодой воин! С горки на долину, с долины на горку ты ходишь, по старым пескам бродишь, не глядишь на дорожку, потому что у тебя есть свои ножки. Смотришь — чистый король, пригоден ты на сухую боль — иди в корзинку!

— Ой ты, мать-и-мачеха! Сильный дух в тебе, помогаешь ты от тоски, от горя! Иди в корзинку!

Рвала она в тишине пахучую траву, потом отошла в сторону с дороги, распрямила согбенную спину, посмотрела в лес выцветшими голубыми глазами и запела:

«...Слышала родная, как рыдают дети,
И из гроба вышла рано на рассвете,
Выглянула травкой слабой и бессильной, —
Вдруг несутся тройки по дороге пыльной,
По дороге пыльной, меж созревшей рожью, —
Мачеха венчаться едет в церковь Божью...»

Послышался её тихий, слабый голос и замолк в лесу, а старушка снова сгорбилась и, вздохнув, поплелась дальше. Но вдруг она остановилась и взмахнула посохом. Как будто какие людские голоса. И всё ближе голоса эти слышно. Выползла она наконец из оврага и очутилась над самым ручьём. Смотрит, толпа гномов окружает лежащую без дыхания лягушку, ломают руки, плачут и восклицают:

— Музыкант наш! Музыкант наш умер!..

Старушка ничуть не удивилась и не испугалась. Всю свою жизнь она была запанибрата с разными диковинными явлениями.

В диковинку ли это, что ли? Краснолюдков в течение своей долгой жизни она видала не раз, не два. Да и что ей краснолюдки?..

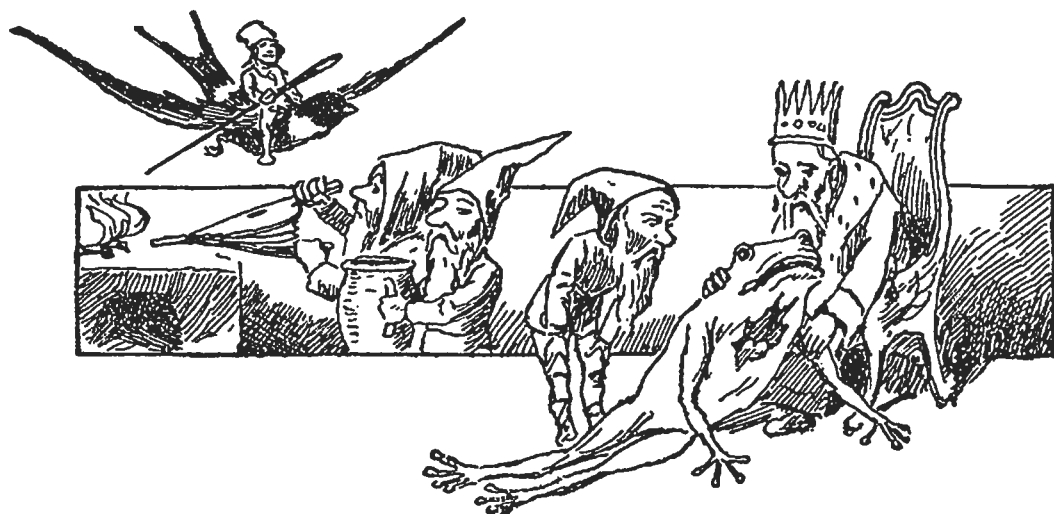
И вот она только заморгала голубыми глазами, подходит ближе и спрашивает:

— Что Бог послал?

Но краснолюдки крикнули ей:

— Ах, у музыканта нашего лопнуло горло! Помоги, бабушка, нашему музыканту!





Покачала бабушка головой, тронула за одну лапу лягушки, тронула за другую — труп. Приложила она своё ухо к мёртвой груди и слушает.

Слушала она и вдруг улыбнулась... Что-то вроде жизни ещё билось в бедном Полубоярине. Тогда бабушка подняла голову и говорит:

— Скачи, кто скорый, за высокие горы, за три моря, — на бездорожье, — на самый конец света, — где стоит моя хата, — принеси мне, старушке, золотую иглу с ниткой, — поможем лягушке.

Побежал Петрушка к хате Скробка, потом обратился к ласточке с просьбой:

«Ласточка, касатка,
Помоги мне в горе!
Понеси меня ты
За горы, за море.
Там за синим морем
Опусти меня ты
С крыльев быстролётных
У колдуньи хаты.
Мне скорее нужно
Из избы старушки
Принести иголку,
Чтоб помочь лягушке».

Защебетала ласточка, обрадованная, что ей можно услужить кому-нибудь.

Вскочил на неё Петрушка, — фррр!.. Только его и видели! Всё равно, как будто его ветром унесло.

Тем временем бабушка огонь разводит, ветки крест-накрест кладёт, зелье варит и горло Полубоярина смазывает. Ей прислуживают гномы, как могут, — тот ей хворост носит, тот мехами огонь раздувает, тот горшочек держит. Сам всемилостивый король поддерживает голову Полубоярина, а как посмотрит на него, так из его очей на землю струятся ясные жемчужины.

Не прошло нескольких часов, зашумели над долиной быстро-лётные крылья ласточки, Петрушка спрыгнул с них, поблагодарил ласточку и подал бабушке золотую иглу с шёлковой нитью.

Нацепила бабушка очки на нос, вдела нитку в иглоку и ну зашивать горло несчастной лягушке. Краснолюдки обступили её, вытянули шеи, смотрят один другому через голову, а бабушка, зашивши лопнувшую шкуру Полубоярина, приложила к носу живительного зелья и три раза дунула.

Лягушка как чихнёт! Словно из пушки выстрелила...

Гномы от внезапного страха рассыпались во все стороны, а Полубоярин открыл один глаз, потом сомкнул его, открыл другой, смотрит и начинает подниматься. Поднялся он, сел, схватился за ноты и разинул пасть для пения.

Разинул он пасть, но голоса никакого не вышло; разинул ещё шире, — ничего не помогает! В третий раз разинул, — из горла вылетел какой-то скрип.

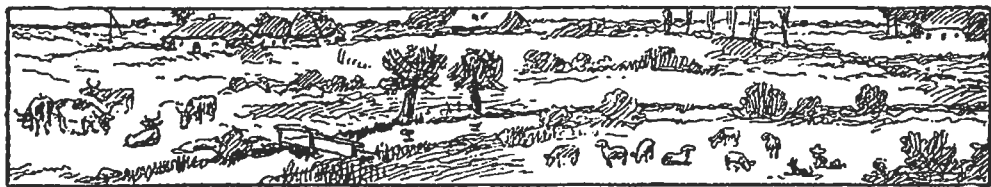
О, несчастный Полубоярин, никогда тебе не сравняться с маэстро Сарабандой в исполнении его великой песни!





У королевы Татры





I



ри дня, три ночи шла Марыся к королеве Татре.

На первый день её вели поля и луга по стране, широко раскрывающейся перед очами и перед сердцем, по стране, красующейся хлебами и травой, обвеянной благоуханием цветов. Целый день слышались шум колосьев, шёпот трав и лепет цветов:

— Сирота... сирота... сирота...

И расступались перед ней хлеба по обе стороны, словно их разделяли великие крылья ветра, а Марыся шла по этому серебристому лесу, мелькая среди колосьев своей голубой юбкой, как полевой василёк. Она шла, протягивая вперёд руки, и шептала:

— Проведи меня, поле, проводи к королеве Татре!

И поле провожало её.

Расстилались перед ней окроплённые росой борозды, сыпая вокруг жемчужины утра, расстилались перед ней длинные межи, затканые пахучими цветами; бежали перед ней мягкие тропинки, полные незабудок, а в воздухе слышно было жаворонка, который, трепеща своими серенькими крылышками, пел:

— Сюда, сюда, сиротка!

Полевые груши наклонились к маленькой путешественнице, спрашивая, не нуждается ли она в их тени; пограничные холмы задерживали её на короткое время отдохнуть под кустом цветущей ежевики; чёрный крест, стоящий на распутье между тремя берёзами, протягивал к ней свои поперечины, и всё, что звучало и пело в воздухе: птицы, мухи, пчёлы и кузнечики, — всё это пело и звучало на одну ноту:

«Всё вперёд иди, бедняжка, —
Бог поможет, если тяжко!»

В широко раскинувшейся стране среди полей и лугов сидят тихие деревушки, чернеющие и белеющие низкими хатками; в широко раскинувшейся стране мычат стада, ржут лошади, на свежих пастбищах овцы ярко отделяются от зелени пригорков, окрики и эхо свирелей разносятся далеко и громко, а вокруг лазурь... лазурь... лазурь...

За Марысей следует Подзёмок, мелькая красным капюшоном среди зелени лугов и полей, словно маков цвет. Бороду он задирает высоко — ему кажется, что он-то именно и ведёт сиротку... Но, на самом деле, было не так:

«Вёл её по той дорожке
Синий чабер, дряквы крошки,
Птичьих крыльев трепетанье,
Комариное жужжанье,
Да колосья полосую
Наклонились под росую,
Да заря свой светоч кроткий
Зажигала над сироткой».

Но на другой день Марыся вступила в мир холодный и мрачный, в мир зелёных сумерек и глубокой тишины, в лесной мир.

Окружили её там раскидистые дубы, сгорбленные, с широко разросшимися ветвями, на которых шумели ярко-зелёные листья. Окружили её там чёрные сосны, со стволами, источающими золотую янтарную смолу, а среди чёрных сосен забелели шумливые берёзы с мелкими листиками и задумчивые грабы, на которых пересвистывались дрозды, и низкая калина, в низких равнинах стоящая и вечно жаждущая влаги.

И шла Марыся-сиротка, шла словно по огромному храму, покоящемуся на тысяче колонн, устланному ковром мхов, а сверху, сквозь листья, солнце на всё это бросало горсти золотых пятен.

И шла Марыся-сиротка, испуганная глубокой тишиной, и всё шептала в глубине своей души:

«Проведи меня, проводи, лес, к королеве Татре!»



И зашумели развесистые дубы и чёрные сосны, и берёзы, и грабы, и низкая калина, и прошёл по верхушкам шум, и тихий шёпот — по самым низким ветвям, молодым листом одетым, а в шуме и шёпоте ясно было слышно:

— Сюда... сюда... Сюда иди, сиротка!

И раскрылись перед Марысей лесные глубины, и лучи солнца упали на дорожку, устланную мхами, словно как будто кто в лесном сумраке сеял золотые звёзды.

И шла Марыся, и подняла свой тонкий голосок, и пела от полного сердца песенку простую, не учёную, искреннюю, которой вторили шум берёз и шёпот старых дубов:

«Ой, лес ты, лес могучий!
Ой, сосен содроганье!
В глуши твоей дремучей
Поёт твоё молчанье!»

А когда она шла так и пела, вдали отзывался то стук топора дровосека, то кукование кукушки, то свист белки, то стук дятла по древесному стволу.

А когда она распелась, так, что чуть было не вступила на ложную тропинку, перед нею вырастал куст ежевики и хватал её за юбку, или сова начинала кричать в своём дупле, или зелёная ящерица перебежала ей дорогу, или ореховый куст наклонял свои гибкие ветви к её русой головке и шептал:

— Вот сюда... сюда... сюда!



За Марысей шёл Подзёмок, мигая красным капюшоном, словно красный гриб-боровик, и идя, задирал кверху бороду, — ему казалось, что это он ведёт Марысю... Но, на самом деле, было не так:

«То, роняя тихо слёзки,
Вдаль её вели берёзки;
Путь широкий чрез равнины
Отмечали ей калины,
И, нащёптывая что-то,
Лес дремучий, лес огромный
Распахнул свои ворота
Пред сироткою бездомной».

Наконец на третий день Марыся вступила в мир гор и ручьёв, весь окутанный голубой дымкой туманов, весь серебряный от водяных брызг и гораздо более дикий, чем первые два мира.

Куда ни кинешь взгляд, стоят зубчатые скалы, достигающие чуть не до неба, напирая одна на другую, челом прободая чёрные тучи.

Куда ни кинешь взгляд, шумят бурные ручьи, струи воды вырываются из-под камней и бегут с грохотом, и пенятся, и наигрывают что-то, и отражаются в них золото солнца и голубизна неба. И отражаются в них гонимые ветром тучи, которые омрачают эту голубизну и гасят это золото. Дикий, грозный мир! Страшно идти по нему, между скалами. Дорога здесь — это ручей, который журчит по камешкам; голос здешнего мира — грохот камней, скатывающихся в пропасти; песня здешняя — клёкот орлов, расстилающих в мрачном воздухе свои тяжёлые крылья. Куда ни кинешь взгляд, куда ни обратишь глаза: камень и вода. Вот каков этот мир!

Идёт Марыся-сиротка, личико её побледнело, глаза затуманились, сердце испуганно бьётся в груди. Идёт, руки простирает вперёд и шепчет:

— Проводите меня, горы, к королеве Татре!

И вдруг расступились высокие скалы и показались долинки тихие, ясные, прорезанные мягкими тропинками, и зажурчали ясные ручейки, и каждый из них прял серебряную и голубую нить, и заклекотал орёл, висящий в воздухе, и все эти голоса, казалось, ясно говорили: «Иди, иди вперёд, сирота!»

И шла Марыся, прислушиваясь к шуму воды и грохоту камней, и к шёпоту маленьких ручейков, и к шелесту орлиных перьев. И шла она, засматриваясь на огромную постройку гор, и на их вершины, уходящие в самое небо, и на все их тени, и на их необъятную мощь. И так велика была эта сила и мощь, что песенка сироты умолкла, как умолкает птица, когда её окутает сумрак. И шла она с тревожно бьющимся сердцем, и тихонько шептала:

— Земля! Земля! Земля!

За Марысей шёл Подзёмок, мигая между скалами своим красным капюшоном, и задира л голову, потому что ему казалось, что он-то и ведёт её. Но, на самом деле, было не так:

«Вдаль вели её громады
Снежных гор и водопады —
Горный мир, повитый мглой,
К королевскому покою.
Вихрь, свистящий над долиной,
Шёпот скал и крик орлиный,
Голос травки, еле слышный,
Вёл её в тот замок пышный,
Да сиянье зорьки ясной
Разливалось над несчастной».





II



амок королевы Татры стоял на высокой горе; на такой высокой горе, что тучи лежали у её стоп наподобие стада серых овец, а вершина пламенела в солнечных лучах на чистой лазури. Два лиственничных бора вели к воротам замка; две скалы, два каменных гиганта держали у ворот стражу; два леса плакучих сосен расстилали моховые ковры на ступенях, ведущих в комнаты королевы; два потока днём и ночью изливали в передней серебро из чудно огранённых малахитовых кувшинов; два орла летали над башенками замка; два вихря были у его порога, как два пса; две синие звезды горели в бойницах башенок: утренняя и вечерняя звезда. Страх и восторг охватили Марысю и взволновали её душу, когда она очутилась перед этим замком.

Она подняла голову и тихо зашептала:

— Иисусе! Куда это я зашла?

А в это время по воздуху прокатился грохот, словно ударило сто громов, и раздался хор лиственничного леса, который пел так, наигрывая на чёрных арфах могучую песнь:

— ...Страшна и могуча королева Татра! Высоко над землёй вознеслась её глава. Из льдов её корона, снежное покрывало спускается по её шее, одежда из синего тумана облекает её тело. Её очи мечут угрюмые и мстительные молнии, её голос — шум потоков и грохот бури. Её гнев возжигает молнии и ломает леса, её ложе устлано чёрными тучами, её стопы попирают каждый цветок и каждую травку... Её каменное сердце не волнуется ничем и никогда. Страшна и могуча королева Татра!

Задрожала Марыся, слыша этот хор. Он умолк, а эхо загуляло по пропастям, словно буря, катясь всё ниже и ниже и угрожая тихим долинам. Но едва это эхо замолкло, отозвался другой хор, наигрывая свою песню на серебряных лютнях.

Хор этот пел:

— Добра и милостива королева Татра! Она прядёт тонкие туманы, прикрывает наготу гор, вьёт венки из плакучих сосен и возлагает им на голову. Она мёртвые снега обращает в живые потоки, поля и низины поит родниковой водой, дабы они давали обильный урожай хлеба. Она седым орлам даёт убежище в своём доме, а их неоперившихся птенцов колышет в высоких колыбелях. Она в своих хоромаш прячет робкую козочку и прикрывает её от выстрелов охотника... Она кротким оком смотрит в долины и охраняет цветы своим дыханием от палящих лучей солнца... Она из бархатных мхов ткёт чудные ковры и устилает ими таинственные пропасти. Она прокармливает убогий люд, у которого нет ни поля, ни хлеба, а детей из горных хаток учит смотреть в лазурь, где находится её дом... Добра и милостива королева Татра!

Умолк хор, а эхо его песни падало в равнину всё тише и тише, словно шум воды, словно шум лесов. Слышала Марыся, и душа в ней ожила, а глаза наполнились благодарными слезами.

Коли королева такая добрая, то и её, сироту, может быть, не оставит...

Подошла она ближе и слышит, как один из орлов говорит человеческим голосом:

— Иди смело, сирота!

Посмотрела Марыся кверху, на этого орла и говорит:

— Как же я пойду по такой крутой, по такой каменистой дороге?

Орёл на это ответил:

— Не бойся, я брошу тебе перо из моего крыла, тогда тебе будет легче.

Зашумело орлиное перо в воздухе и упало у ног Марыси. Подняла его сирота, прижала к груди, идёт легко и скоро, камешков не чувствует, к земле едва прикасается, почти плывёт в воздухе.

Одолела она крутую тропинку, стоит у ворот замка.

— Как же я войду туда, коли там снег и лёд?



Посмотрела она кверху, солнечный луч говорит ей человеческим голосом:

— Не бойся, я согрею эти снега и льды.

И тотчас же образовалась словно золотая дорожка — так солнце отогрело её.

Идёт Марыся, холода не чувствует, всё равно, как будто бы ставила ногу не на снег, а на те белые цветы, которые в мае месяце опадают с деревьев. И подошла она к самым сням.

— Как же я пойду дальше, — говорит она, — коли в воде должна замочить ноги?

Смотрит она кверху, слушает, а облачко тумана говорит ей человеческим голосом:

— Не бойся, иди смело, я переброшу тебе серебряный мост через этот поток.

И тотчас же облачко начало низко расстилаться над потоком, да так густо, что Марыся пошла по нему, как по серебряному помосту. И вдруг она очутилась у порога королевской комнаты.

Замерло сердце сиротки, и она уже порывалась бежать назад, будучи не в состоянии вынести того ослепительного блеска, который струился из этой комнаты, когда Подзёмок, который не мог поспеть за девочкой, прибежал, задыхаясь, и, видя колебание Марыси, быстро толкнул двери и втащил её в комнату.

Вскрикнула девочка, ослеплённая светом и богатством комнаты, полной лазури и майской зелени, среди которой на троне сидела королева Татра.

Опустила Марыся глаза, не смеет поднять их на ясное королевское лицо, остановилась на пороге, ни двинуться не отваживается,



ни слова промолвить, и стоит, как заколдованная, в своём сиротском убожестве.

Но королева Татра сделала мановение белой рукой и спрашивает:
— Кто ты, дитя?

Марыся открыла рот, силится сказать что-нибудь, и ничего не может, — так её голос замер в груди от великого удивления.

Но на помощь ей поспешил Подзёмок. Он заложил свою трубку за спину, отвесил самый почтительный поклон и сказал:

— Это пастушка из Голодной Вольки, Марыся-сиротка.

И он снова шаркнул ногами, отвесив поклон с великим размахом.

Королева ласково улыбнулась при виде гнома, а потом обратила своё чудное лицо к Марысе и спрашивает:

— Чего ты хочешь, сиротка?

Марыся не могла выдержать и, протягивая вперёд свои исхудалые ручонки, воскликнула:

— Гусяток моих хочу, ясная королева! Гусяток моих... семь штук, которых у меня задушил лис! И чтобы гусак по-прежнему гагакал до рассвета, а гусыни чтобы отзывались и щипали траву, и чтобы опять паслись на нашем лужке...

Тут она разразилась плачем, закрыла глаза руками и сыпала сквозь крохотные пальцы самые горькие слёзы.

В комнате сделалось тихо, и слышно было только жалобное рыдание сиротки. Королева Татра милостиво взмахнула своим скипетром и медленно заговорила так:

— Многие здесь были, и многие приносили сюда свои просьбы. Просили у меня серебра и золота, просили, чтобы я исправила их участь. Но такой, который хотел бы остаться таким, каким был сначала, как этот ребёнок, — ещё не являлся сюда. Пусть будет так, как ты хочешь.

Королева поднимается с трона и ведёт Марысю к окну.

Посмотрела сирота да как захлопает в ладоши.

Во сне ли это или наяву?

Из дворца королевы Голодная Волька видна как на ладони. По дороге идут пастухи, щёлкают себе длинными бичами, гонят стаи гусей, а у леска на полянке семь гусей щиплют траву, гусак гагакает, серая гусыня откликается ему, а Гася, верная собачка, сидит возле них, в лес смотрит и тихо повизгивает, госпожу свою ждёт...

— Иисусе... Иисусе! — воскликнула Марыся, не в силах найти других слов в той великой радости, которая проникла в её сердце. — Гусятки живы! Живы мои гусятки!





III



огда сирота восклицала так сквозь радостные слёзы, королева прикоснулась к ней рукой и говорит:

— Марыся!

Девочка опомнилась, смотрит... что такое?

Лежит она на скамье, на пучке свежего сена, покрытая каким-то лоскутом. Возле скамьи сосновый стол, на нём пара горшков, перевёрнутых вверх дном, подальше большой камин; перед камином свернувшись лежат бурый кот и пучок сухого хвороста, связанного бечёвкой. Сквозь разбитое окошко видны ветки сирени, одетые тёмными листьями. У её ног сидят два светлоголовых мальчугана в посконных рубахах, расстёгнутых у шеи. Румяные лучи заходящего солнца сквозь листья сирени сыплются безуданно и на смуглой груди мальчиков отражаются золотыми кружками.

Марыся чувствует большой жар, а голову её что-то сжимает. Дотрагивается она до неё рукой — голова обвязана тряпкой.

При виде её движения оба мальчика вскочили с места и побежали к ней.

— Ну, как ты? — спрашивает один.

— Хочешь пить? — кричит другой.

Марыся смотрит, но не узнаёт их.

— Кто вы какие? — спрашивает она.

— Мы Скробковы, он — Куба, а я — Войтусь, — отвечает старший.

— А чья это хата?

— Чьей же ей быть?.. Скробкова.

— А я как очутилась здесь?

— Тятя принёс тебя, — вот и всё.

— А откуда он меня взял?

— Да из-под леса. Тятя возвращался из города и пошёл в лес, чтобы вырезать себе новую палку, потому что у него бич сломался. А в лесу визжит какая-то жёлтая собачонка, за кафтан тятю дёргает и всё в кусты тащит.

— Мой Гася! — крикнула Марыся. — Не случилось ли с ним чего-нибудь дурного?

— Э! С ним-то ничего не случилось, — смеясь ответил Куба, — а вот тебя-то, бедняга, тятя нашёл почти без души да и принёс к себе в хату. Вот и всё.

— А моя хозяйка?

— Что там хозяйка! Лучше останься с нами. Мы уже просили тятю, чтобы он не отдавал тебя хозяйке.

— Тятя говорит, — прибавил Куба, — что у нас мало хлеба, но мы поделимся с тобой. Теперь и в лесу можно найти кое-что, голода не будет.

А Войтусь прибавил:

— Вот ещё что! Какой там голод! Мало ягод красных и чёрных или грибов всяких? Прошлогодние орехи тоже кой-где попадают.

— Тятя даже за ремень было схватился, — со смехом воскликнул Куба, — так мы надели на него!

— Он побил вас? За что? — с испугом спросила Марыся.

— Э, побить-то не побил, а пострадал немного, — продолжал Кубусь.

— Но мы всё просили и даже на ремень не посмотрели.

— Так меня ваш тятя оставил здесь?..

— Совсем-то не оставил, — объяснил Войтусь. — «Нужно, — говорит, — спросить в Голодной Вольке, чья это девочка».

— Ну, и спрашивал?

— Спрашивал. Как не спрашивать! И о хозяйке твоей узнал.

— Ну, и что ж?

— Да то! Сначала плакала, что тебя волки унесли, а потом стала плакать, что не сожрали тебя они, а что ты у нас лежишь в хате больная. «Что же я, — говорит, — буду делать с больной гусятницей? Я уже другую девчонку подговорила, а еще и прежнюю мне держать не под силу».

— Значит, и гуси есть? — радостно спрашивает Марыся, поднимаясь на скамье.

— Как же! Четыре белых и три серых. Как же!

— Отличные гуси! — с важностью добавил Кубусь.

Марыся зажмурила глаза и вздохнула, словно у неё камень свалился с сердца.

Что там ещё болтали мальчишки, она уже не слыхала, потому что её сразу охватил глубокий сон.

Когда она проснулась, на дворе уже начинало сереть.

Солнце зашло. Сквозь полуоткрытые двери Марысе мигали золотые звёздочки, которые, блуждая по сапфировому небу, по дороге заглядывали к сиротке, чтобы узнать, здорова ли она.

Вдруг двери распахнулись, в комнату что-то ворвалось, задело за скамью и бросилось на девочку.

— Гася мой! Гася! — слабым голосом воскликнула Марыся, прижимая к себе собаку. — Не забыл ты о Марысе-сиротке?

И из глаз её посыпались слёзы, обильные и сладкие.

А тем временем Гася радостно визжал, вилял хвостиком и лизал смуглые ручонки Марыси.

Эх, Марыся, сиротка! Не один раз действительность на белом свете складывается в такой дивный, золотой сон. И не один поток слёз осушает добрая рука в таком сне!

* * *

Тем временем великие чудеса происходили в Голодной Вольке, когда новая гусятница погнала гусей на лужок. Смотрели на это люди, головами покачивали, судили и рядили так и этак, и всё у них выходило разное.

— Или это те самые гуси, или не те!.. Вы-то как говорите, кума?

— Да что мне говорить, коли у меня в глазах двоится. Может быть, те, а может быть, и не те! Серая гусыня как будто побольше... повидней как будто.

— Куда там, больше! А мне сдаётся, что она меньше стала.

— Но вот в чём штука-то, что об этих гусях люди рассказывают: подушили их будто, а теперь они снова расхаживают!

— Да, да!.. Истинное чудо!..

И кумушки расходились в разные стороны, покачивая головами от удивления.

Но более, чем кумушки, удивлялся лис Обьедало. Осторожно, молчком, подкрадывался он к лесу, заходя то с левой, то с правой стороны, и присматривался к пастушке и её маленькой стайке.

— Что это? — шёпотом спрашивал он самого себя. — Что это значит? Да разве я один раз уже не задушил этих гусей?

И при одном воспоминании об этом он широко облизывал свою разбойничью морду.

— Откуда же они вновь очутились живыми?

Встревоженный, охваченный злым предчувствием, он побежал, прижимаясь к деревьям, на полянку, где сложил задушенных им гусей.

Смотрит, в траве ещё белеется пух, но самих гусей уже нет.

— Меня обокрали!.. Меня ограбили!.. Я разорён! — кричит громким голосом этот негодяй, как самый почтенный зверь, у которого обидчик отнял плод его труда, и давай от великого гнева кататься по земле...

В это время он заметил какого-то небольшого, желтоватого зверка, стоящего в высокой траве на двух лапках. Зверёк, наставив большие, круглые уши, смотрел на отчаяние лиса быстрыми, чёрными глазками.

Лис тотчас же распалился ещё более неистовым гневом, но так как он был не только жесток, но и лукав, то лишь заскрежетал зубами и проговорил:

— Эй ты! Чего ты здесь ротозейничаешь? Зрелище себе из этого устраиваешь?.. Скажите!.. На лапы поднялся, словно как в театре! Значит, ты должен знать, кто у меня гусей похитил, коли ты повсюду подсматриваешь. Подожди, запишу я это тебе и запишу на твоей же шкуре! Ответишь ты мне за это! В плохой час ты попался мне на глаза!

Он, может быть, и сейчас же схватил бы его за горло, но бедный хомяк после первых слов лиса тотчас же опустился в траву и быстро начал удирать в свою хатку, страшно испуганный тем, что навлёк на себя гнев такого большого зверя.

Обьедало пока не преследовал его, потому что только перед этим задушил голубя и чувствовал себя сытым. Сожрав добычу

до последней косточки, он только погрозил в сторону травы, колеблющейся вслед за движениями хомяка.

— Подожди!.. Мы ещё встретимся с тобой, когда я буду натошак!.. Встретимся мы ещё с тобой, приятель!..

Он ушёл в лес, кипя злобой и отчаянно фыркая.





Судомка





I



оседи теперь не узнавали бедного Скробка.

После той весенней ночи, когда вместе с благоуханием росистой травы и цветов разливалась песнь великого маэстро Сарабанды, Скробек переступил через порог своей мазанки, как будто был совсем другим человеком.

Что это, чары были какие-нибудь!? Нет, то были не чары, а только бедняк сумел перемочь леньность своей мысли, леньность своей души, в первый раз почувствовал любовь к давным-давно заброшенному клочку земли, к тому бесплодному полю, лежащему под ласковым небом, откуда ведь и на него светило Божие солнышко и лился благодатный дождик.

В первый раз он почувствовал великий призыв к работе, значит, — и огромную силу.

И эта сила так вошла в его грудь, в руки, в плечи, что он едва протерпел в бездействии до утра, а горсть соломы, на которой он лежал в эту ночь, показалась ему каким-то муравейником.

— Сколько понапрасну потраченного добра и жизни! Сколько сил даром пропало и во мне, и в этой земле!

Отчего же за год, за два, — на него не нашла такая минута?..

Ждала его, ждала земля, терпеливая, добрая... Ждала она его, наряжаясь в дикие цветы и дикие травы, как цыганка, потому что его труд не облёк ещё ни разу её в золотую одежду колосьев...

Теперь он её нарядит... Теперь он оживит её... Теперь он — сын, да, сын! А она — родная мать...

* *Субботка* — то же самое, что ночь под Ивана Купалу.

Петухи уже запели, когда Скробек, измученный своими мыслями, наконец, заснул. И снилось ему, что он ходит по голубому небу, лунным серпом жнёт звёзды и слагает их у Божиих стоп в огромные стога.

Вот какой золотой сон снился Скробку...

Едва только забрезжил рассвет, достал Скробек деньги из горшочка и пошёл покупать плуг и борону к колеснику Войцешку, на другой конец деревни. Дорога по деревне была ещё пуста и тиха, но Войцешек уже сидел верхом на пеньке перед своей хатой, строгал оглоблю и посвистывал на скворца, которого держал у себя уже многие годы.

Едва Скробек показался на дороге, как этот скворец уже начал кричать:

— Войцешек! Войцешек! Войцешек!

Старик кивнул ему головой и говорит:

— Гость идёт.

— Гость! Гость! Гость! — закричал скворец пискливым дискантом, а в это время приблизился и Скробек.

— Да будет благословенно имя Иисуса Христа!

— Во веки веков! — ответил Войцешек, а вслед за ним и скворец.

— Смышлёная птица! — говорит Скробек с удивлением. — Должно быть, у органиста в науке был?

— Э! Нет! — ответил на это Войцешек. — Я сам его выучил. Человек я старый, одинокий, ближние и дальние родственники у меня все померли, рта раскрыть не перед кем, вот я хоть с птахой, немым созданием, говорю... А тебе чего нужно?

— Плуг нужен. Да, хороший плуг.

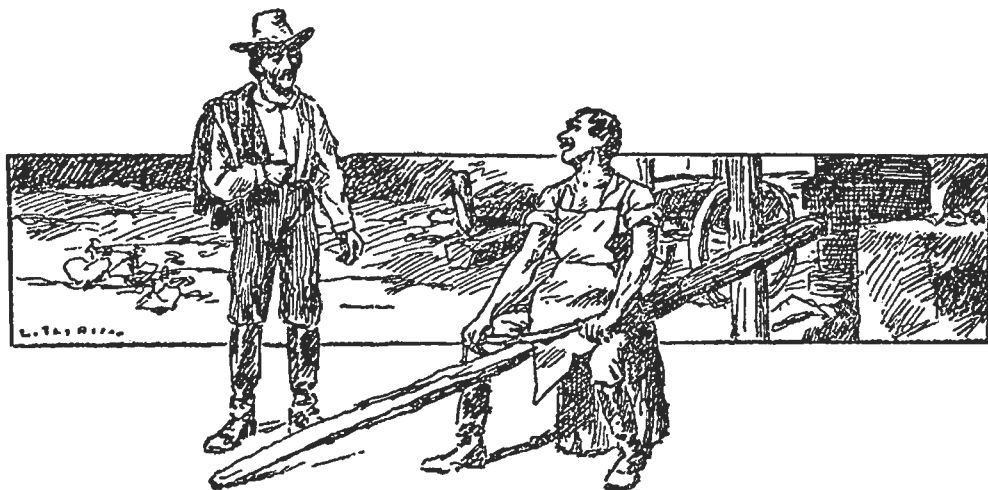
— Ну, что же ты будешь пахать и у кого?

— У себя! Себе и детишкам на хлеб пахать буду вот тот клочок земли, который пустырём зовётся.

— Что ты?.. — удивился Войцешек. — Да на ту землю пушку нужно, а не плуг! Земля застарела... одичала... тяжело с нею будет справиться.

— Тяжело!.. Тяжело!.. Тяжело!.. — вдруг запищал скворец и начал тяжело вздыхать и кашлять, как утомившийся человек, потому что у него и на это уменья хватало.

У Скробка тоже как-то тяжело стало под сердцем. Прежняя сонливость как будто снова овладела им... Но он сразу стряхнул её с себя и говорит:



— Плуг должен быть прочный, потому что земля тяжёлая, и работа тяжёлая... Ну, да и работник тоже не лыком шит...

Он засмеялся, протянул вперёд свои жилистые руки и весело посмотрел на своих собеседников.

— Ну, тогда что-нибудь, пожалуй, и выйдет! — сказал Войцешек.

— Выйдет!.. Выйдет!.. Выйдет!.. — застрекотал скворец, радостно трепеща крыльями.

У Скробка загорелись глаза, и, чувствуя огромный прилив сил, он быстро начал говорить:

— Сделай ты мне, Войцешек, плуг такой, чтобы, когда я навалюсь на него, он сам бы откидывал камни, куда я захочу. Сделай ты мне лемех светящийся, как солнце, чтобы он шёл в самое сердце земли и под самым её сердцем прорезывал бы место для зерна. Да дерево бери не какое-нибудь, не из лесной заросли, а с полянки, которое соловьиных песен наслушалось, которое к пастушьей свирели привыкло, которое с полями сжилось... Вот какой плуг сделай мне.

— Плуг! Плуг! Плуг! — во всю силу кричал скворец, желая заглушить Скробка.

Войцешек добродушно улыбнулся и кивнул седой головой.

— Как хочешь, так и будет! — сказал он наконец, когда птица умолкла. — Как хочешь, так и будет! Я сумею сделать плуг, какой угодно. Эге! Такой сумею сделать, что в землю, словно как в масло, пойдёт, хотя бы там камень на камне лежал.

— Ну, делай с Богом и начинай в добрый час, — сказал на это Скробек, развёртывая тряпицу с деньгами. — Я даю, что могу, ты сделай за эту цену борону.

— Отчего мне не сделать!? — рассмеялся Войцешек. — Да такую сделаю, что будет зубастая, как волк. Вычесет она тебе землю, как баба свёклу, — уж в этом моё искусство!

— Ну, оставайся с Богом, — сказал Скробек, у которого руки так и чесались взяться за топор и приступить к корчёвке. — Через неделю я приду.

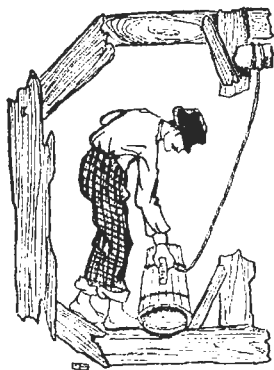
— Через неделю, — повторил Войцешек, — и да поможет тебе Бог окончить свою работу счастливо.

— Счастливо!.. Счастливо!.. Счастливо!.. — кричал скворец вслед за Скробком, который шёл так быстро, словно у него с плеч свалился десяток лет.





II



ильно дивились люди, путь которых лежал мимо пустыря: что это за человек в каждую пору дня вырубает топором кустарники, выкапывает камни, оттаскивает их на межу и начисто освобождает землю от заросли?

Кто ни идёт, остановится и смотрит на работника, а у того такой огонь в глазах горит, на лбу появляются такие крупные капли пота, как будто он вступил в единоборство с медведем, и не устаёт.

— Да разогни спину, — говорили ему мужики.

Но Скробек отвечал на это:

— Не тот сгибается, кого работа сгибает, а тот, кого лень и нужда пригибают.

Проходят девки, смотрят и говорят тонким, жалостливым голосом:

— Ты весь покрыт потом, как трава росой. Отдохни немного!

А Скробек отвечает им:

— Не есть хлеба тому человеку, кто не оросил землю потом.

Идут бабы, дивятся, головами, красными платками окутанными, покачивают и говорят:

— Боже Ты мой Всемиловитый!.. Мужичонка ни за что, ни про что совсем надорвётся! И хлеба не отведаст, какой соберёт с этой земли.

А Скробек говорит:

— Не я отведаю, так отведают другие. Человек живёт здесь сегодня, завтра, а земля остаётся навсегда.



Но хотя Скробек работал так усердно, он своими силами ни одного из огромных камней не сдвинул бы, не выкорчевал бы ни одного пня, если б ему не помогали маленькие краснолюдки. Мужик не видал их, потому что они всегда сумеют притаиться, и не раз удивлялся самому себе:

— Откуда у меня берётся такая сила? — говорил он, выворачивая огромный пень, который сидел в земле на целую сажень. — Четверым и то едва ли бы под силу.

А того он и не знал, что гномы целым полчищем пень этот изо всей мочи толкают, окапывают, обрубают, — так что щепки летят во все стороны. Скробек один раз ударит сверху топором, а они — десять раз, — ну, таким образом, и вытащат.

Возьмётся Скробек за камень и даже удивится.

«Что за притча!? — думает он. — Камнище страсть какой, а катится легко».

А того он и не видит, что толпа краснолюдков толкает камень вместе с ним; он пихнёт один раз, а они — десять раз.

Вот какая помощь у него была!

И работа так и горела в руках у Скробка.

А когда наступил восьмой день, никто не узнал бы этого урочища. Из-под камней и пней, из-под зарослей и сорной травы, пред утренним солнцем предстала новая земля. Перед хаткой зачернели огромные пни, на зимнее топливо приготовленные; на межах расположились высокие кучи бурьяна и терновника, и только кое-где на краю виднеется куст шиповника, да и то для того, чтобы обозна-



чать границу, — остальное же поле всё чистое, ровное, кочки сравнены, ямки засыпаны, а жаворонок порхает над этою новью и поёт так чудно, так громко, как будто чьи-то серебряные гусли сами играют утренний гимн.

Заплакал от радости Скробек, ведя новый плуг на свою ниву, снял шапку, преклонил колени, поцеловал землю, от вековой дикости освобождённую, ударил себя в грудь раз, ударил в другой и, схватившись за плуг, глубоко запустил в землю острый, широкий лемех, в котором ярко отразилось солнце.

— Эй! — крикнул мужик. — Эй, поле ты моё, поле!

«Эй! Эй!» — раздалось у леса широкое эхо.

Там, на последней меже пел и хлопал в ладоши весёлый народ краснолюдков, глядя на своего пахаря. Сам король Огонёк своим золотым скипетром взмахнул над новым плугом и благословил его, дабы он извлекал хлеб из недр земли в радости и спокойствии.

Но когда вечером, возвратившись со своего поля, пахнущего свежей землёй, Скробек отворял дверь хаты, то ему делалось тошно при воспоминании о грязи, которая ждала его за порогом.

Там, на поле, благоуханно, чисто; там, над полем, небо словно голубое озеро, на котором днём горит солнце, а вечером плывёт месяц, серебряным веслом высекает искры, и повсюду-то, повсюду — ясные звёзды, а здесь, в грязной хате, всё серо, закопчёно, пылью покрыто, сором осыпано.

«И в лесу, так и там лучше, — думает Скробек. — В лесу на деревьях висит дикий хмель, а в хате — паутина от угла и до угла. На вороне чёрные перья лоснятся, а на мне и на моих ребятишках рубахи чёрны от грязи. Даже у ящерицы шкурка такая чистенькая, что в ней солнце отражается, а ребятишки мои грязны так, что на них можно репу сеять».

Поник головой задумавшийся Скробек, вздохнул тяжко, входит в хату.

Что это такое?

Хата как будто бы та же, но не та. Камин обмазан свежей глиной, паутина обметена, скамьи и стол вымыты, сора словно и не было, вся убогая комнатка сразу как-то просветлела, покрасивела.

Мужик протёр глаза, думает, что ещё минута, и всё это исчезнет; но комнатка остаётся всё такой же, а в ней так и пахнет порядком.

— Кто здесь так хозяйничал? — спрашивает Скробек.

— А это Марыся-сиротка, и мы тоже! — крикнул Кубусь.

Сердце Скробка смягчилось. Как будто для него настали лучшие времена. Как будто над ним распростёрлось какое-то добро и сквозь его глаза проникало в душу. Прижал он к себе детей, а когда увидал, что у Войтуся и Кубуса волосики причёсаны, а личики чисто вымыты, отцовская слеза упала и на их светлые головки и на головку Марыси, и он всех их перецеловал по очереди.

А тут как раз ласточка возвращалась к своим маленьким писклятам, к самому ужину. Три раза пролетала она мимо и три раза возвращалась, всё не могла узнать хаты, — такие произошли в ней перемены! И только, осмотрев весь новый порядок, она начала весело петь и чирикать:

«По воле иль неволе,
Своё взрыва́й ты поле, —
Держите чисто хаты
И будете богаты».

Как видите, это была не очень складная песенка, но ласточка, деревенская простушка, не умеет петь по-учёному. Зато как весело поёт она, как бойко! Даже у людей от её песни делается легче на душе.

И Скробку сделалось удивительно легко. А так как он был весь запылён при своей работе, то взял ведёрко, пошёл к колодцу, чисто-начисто вымыл лицо и руки, привёл в порядок волосы, очистил одежду и весело засел с детьми за миску с картофелем.

И так уже это у него навсегда вошло в обычай.

Ребятишки Скробка, не привыкшие к тому, чтобы их отец умывался вечером и так ласково смотрел на них, вместе с ласточкой удивлялись такой перемене.

— Должно быть, скоро будет Светлое Воскресенье, — после долгого раздумья сказал Войтусь.

А Кубусь ответил на это:

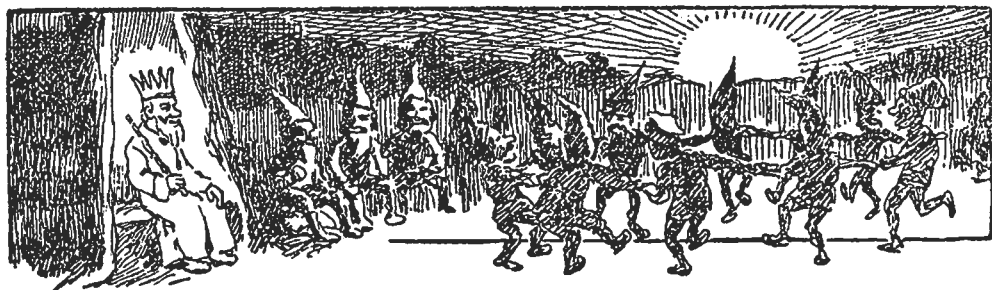
— И тятя поросёнка купит.

Теперь они ходили с великой важностью грудью вперёд, руки за спину, головы кверху задранные, волосы водой смочены — ходят и сами себе дивуются, всё выжидают Светлого Воскресенья.

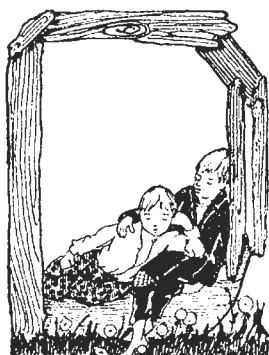
Прежде Скробек неохотно видел их возле себя и часто отгонял прочь, чтобы не смотреть на их голод и на их нужду, а теперь звал их с собой в поле, сажал на меже и, прислушиваясь к их звонким голосам, отирал пот с чела и шептал с радостной улыбкой:

— Тяжело мне, но вам зато будет легче!





III



громный солнечный шар тихо склонялся к западу, залитому розовым блеском зари. День угасал.

Со стороны бора шла лунная и золотая ночь, влача за собой серебристо-туманную одежду. В окроплённых росой травах дергач крикнет то там, то здесь; со стороны бора ему отвечает выпь, скрытая в лозине; над землёй стоит сильное

благоухание трав и злаков.

То был вечер под Ивана Купалу, таинственный, дивный, такой вечер, когда люди понимают голоса зверей, птиц и всякого растения.

Вот в этот-то вечер Скробек и допахивал поле. Далеко и широко было слышно его весёлое, бодрое покрикивание:

— Ну!.. Ну, малютка... Тащи скорее!..

К этим окликам прислушивались ребяташки Скробка, которые сидели на орошённой траве, как раз против чернеющей группы сплошного кустарника, прижимаясь друг к другу русыми головками, и слегка начинали уже дремать. Это огромное угасающее солнце, эта ночь, идущая по росе, точно обнимали их мягкими золотисто-серебряными крыльями и убаюкивали их ко сну.

Вдруг Кубусь заворочался.

— Земля говорит... — пробормотал он тихим сонным голосом.

Но Войтусь обрушился на него:

— Вот дурак-то!.. Скажите, пожалуйста!.. Да разве у земли есть губы, чтобы она говорила?

— Ты скажешь, нет? А чем бы она просила у Господа Иисуса о дожде или о погоде?.. И кусты говорят, и травы...



L. JAGODZIŃSKI

— Да ты-то слышал их?..

— Слышал!

— Что же они говорили?

— Да разные разности... О!.. И теперь говорят!

Войтусь насторожил уши. И вправду, со стороны лугов и бора шёл тихий шёпот и шум, словно тихие голоса вырывались из тысячи крохотных уст.

— Ну, вот, — подтвердил Кубусь.

Старший брат вытарашил глаза, потому что ему казалось, что таким образом будет удобнее, и старательно прислушивался.

Но голоса теперь соединялись, сливались в слова, более определённые, и как будто бы далёкие, и вместе с тем такие близкие, точно их нашёптывали в самую душу.

Теперь оба мальчика ясно услышали не то звук струны, не то пение... точно звонит полевой колокольчик:

«Потише и без шума!..
Пока в дали угрюмой
Зари не вспыхнет знак.
На землю сыпьте мак,
Траву росой полейте,
На хаты сны просейте,
Просейте сны благие
Сквозь сита дорогие!»

— Ты слышишь? — шепнул Кубусь.

— Слышу, но мне страшно, — говорит Войтусь и крепче прижимается к брату...

А в это время голоса приблизились, стали ещё слышней:

«Среди колосьев ржанных,
Средь трав благоуханных
На празднике природы
Сплелись мы в хороводы
И чары сыплем всюду
Заспавшемуся люду»...

И вдруг из-под камней, из-под трав, из-под кустарников слышались лёгкие шаги множества маленьких ног... Мальчики задержали дыхание, вытаращили глаза, вытянули шеи, смотрят — истинное чудо!

Тут же на меже, под старой, полуистлевшей грушей, вся земля зароилась маленькими, пёстро одетыми человечками, которые, взявшись за руки, начали весело танцевать.

— Краснолюдки... Гномы! — шепнул Войтусь.

А в это время на небо взошла луна и залила серебристым светом всю поляну.

— Король!.. — воскликнул Кубусь подавленным голосом. — Вон он... король!

И он показал пальцем на старую полевую грушу, из дупла которой вдруг заструился яркий белый свет. Войтусь не видел ничего и только, спустя несколько времени, заметил, что в дупле сидит старый, очень старый король в белой одежде, в короне и с золотым скипетром.

Войтусь хотел уже было воскликнуть: «Боже Ты мой!» — когда вдруг из большой кучи хвороста и терновника, от которого Скробек освободил своё поле, начали показываться маленькие летучие искры, словно золотые пчёлы, и маленькие ползучие струйки огня, словно золотые змейки.

И одновременно с этим в воздухе зазвучала тихая песня:

«Огня ты слышишь свист?
Вступая с мраком в спор,
Как ярко золотист
Субботний наш костёр!
Как искры, озарив
Весь неподвижный лес,
Спешат наперерыв
Под самый свод небес!..»

Эта песня ещё звучала, когда в костре хвороста и терновника вдруг вспыхнул ясный пламень, в ярком блеске которого ещё шибче, ещё легче, ещё воздушней плясали краснолюдки, так что, как поглядишь на них, поневоле почувствуешь головокружение.



— Караул!.. Тятя!.. — восклицал Войтусь, охваченный внезапным испугом. — Караул!.. Гномы танцуют.

— Король... Король! — шептал Кубусь, не спуская глаз с груши.

Но Скробек не видит и не слышит ничего. Руки его напряжены, глаза горят огнём великой и тихой радости.

Он допахал последний клочок пустыря, снял шапку, оглядел широкое небо, всё залитое блеском луны, и сказал тихим голосом:

— Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, что Ты помог мне в моей работе. Аминь.

И, взяв лошадь под узды, он шёл большими шагами к меже, где сидели мальчишки, так бодро шёл после тяжёлой работы, как после отличного отдыха, лёгкий, радостный, до мозга костей проникнутый светом и тишиной Ивановской ночи.

Он шёл, а вокруг него звучали тихие голоса, точно звуки далёких невидимых скрипок:

«Без шума... осторожно
Плясать нам здесь возможно,
Покуда луг росится,
Пока не озарится
За лесом, там, далёко
Хоть красешек востока»...

Словно подавленный, Скробек прислушивался к этому пению, смотря на окрестность, залитую лунным светом, а вслед за ним, как раз у его ног, шла его резкая, короткая тень, отражаясь на земле.

Посмотрел на эту тень Скробек раз, посмотрел другой и тяжело вздохнул. Не так ли же точно, как эта чёрная тень, ходила за ним чёрная доля?

Он поник головой и задумался, и вся воздушная музыка не стала слышна ему.

Что из того, что поле вспахано, что из того, что земля обработана?.. Чем её он, бедняк, засеет, коли у него нет ни зерна, ни денег на посев?

Что он заработал в лесопильной мастерской, что за летнее время отложил в горшок, всё это ушло на плуг, на борону, на топор, на еду, хотя он ой-ой как бережно обращался с этими денежками. Что

делать? И кузнецу нужно заплатить, и соли купить... И вот вчера он истратил последний медяк...

А теперь что будет? Как он справится с той святой землёй, которая ждёт зерна?

Погружённый в свои заботы, шёл Скробек в хату, а тень шла за ним; он миновал забор, — тень за ним; он дошёл до порога, — тень за ним, да ещё и на пороге лёг его неотступный товарищ. Кто знает, может быть, и в хату вотрётся. Но тут Скробек не видал ничего, только швырнул шапку на стол, тяжело опустился на лавку и погрузился в свои грустные мысли.

Немного погодя двери скрипнули, и в комнату тихонько вошла Марыся, возвращающаяся из далёкого путешествия.





Дело Ветовки





I



еперь с утра до ночи в деревне раздавались тяжёлые удары цепов, то в одиночку, то вдвоём, втроём, и даже вчетвером, и всё скорее, всё запальчивей, так что эхо отражалось даже в лесу; так хозяева старались обмолотить новое зерно для посева в надлежащую пору!

Только одному Скробку было нечего молотить, только один Скробек ходил печальный, без всякого дела от хаты до поля, от поля до хаты, думая, откуда он добудет зерна, чем засеет своё поле.

А земля как будто сама просила семян. Обогрело её солнце, освежили росы, прямые и ровные борозды тянулись под голубым небом. С рассвета до сумерек над ними порхал жаворонок, серый певец вспаханных полей, и звонил своим чудеснейшим голоском:

«Дай-то Бог, дай-то Бог,
Чтоб стоял здесь полный стог!»

Слушал эту песню Скробек, покачивал головой и жалостно вздыхал.

— Эх, ты, земля, земля, — говорил он. — Вспахал я тебя плугом, взборонил бороной... И разве только слезами обсеменить мне суждено тебя!

А тем временем цепи всё бьют и бьют...

Бьют цепи по золотой соломе, сыплется из колосьев золотое зерно, а ударит молотящий посильнее, то зерно так и брызнет,

далеко-далеко, за ворота риги, как брызгают золотые искры, когда кузнец бьёт по раскалённому железу на наковальне. А перед воротами риги суетня, на чём свет стоит. Целые стаи воробьёв с ближайшего тополя слетаются на разлетевшееся зерно, и кричат, и клюют, и дерутся, и ссорятся, а подойдёт кто-нибудь поближе, тотчас же фррр!.. и опять на тополь, точно их ветром сдуло.

— Что это птицы сегодня так чирикают? — спрашивают мужики друг у друга. — То ли к дождю, то ли к хорошей погоде.

А того они и не видят, что между воробьями увивается громада гномов и собирает самым тщательным образом разлетевшееся зерно. И в то время, когда воробей успеет схватить одно зерно, краснолюдок схватит десять. Вот какая работа!

Свирепеют воробьи, так и наскакивают, наёживши пёрышки, на красные капюшоны; но краснолюдки ничуть не боятся этих крикунов и спокойно ходят между ними, собирают себе, то ли в мешочки, то ли в полы епанчи самое, что ни на есть, лучшее зерно.

— На вот тебе, воробушек, раздроблённое зерно, кушай на доброе здоровье. А какое полное, целое, золотистое, — то на посев. Из одного зерна, брошенного в землю, выйдет целая сотня других. И бедный человек попользуется им, и детям из этого хлеба что-нибудь уделит, и вам, воробушкам, что-нибудь перепадёт.

Так говорили краснолюдки, собирая зёрна.

Но слова их неясно были слышны за громким чириканьем птичьей стаи, которая решительно не обращала внимания на эти речи. Известное дело, птица себе, как птица! Заботы о завтрашнем дне у неё нет. Не пашет она, не сеет, ей и так хорошо живётся. Если сыта сегодня, то поднимает головку и поёт. А придёт завтра — опять поднимает головку и опять поёт, и с уверенностью и радостью рассчитывает на хлеб насущный.

А тем временем цепи ударяют по колосистой и золотой соломе, и гномы работают, не покладая рук, а что соберут за день, то несут в подземелье и ссыпают в кучку.

Подземелье сухое, отлично выбранное под корнями дуба, берёзовой корой выложенное, — так и серебрится. Вверху — отверстие для проветривания, сбоку — для прохода, а посредине золотистое зерно, целенькое, высокой кучкой насыпанное,

с целую четверть, может быть. Такое добро нельзя оставлять без надзора, без стражи.

Каждый день один из гномов липовой лопаточкой переворачивает зерно, сушит его, открывает отверстие на солнце, а когда смеркнется, метёлкой сметает его опять в кучку и, заткнув мхом верхнее отверстие, чтобы в подземелье не зашли роса и сырость, сам ложится и сторожит.

Но однажды Соломинка, который на этот раз держал стражу, заметил, что зерна как будто убыло.

«Ну, — думает он, — улежалось, может быть».

Так ночь и прошла.

На другую ночь зерна опять стало меньше.

«Э! — думает Василёк, который был сторожем. — Может быть, усохло немного».

Но на третью ночь зерна убыло столько, что Жучок, на долю которого выпало сторожить, схватился за голову и наделал ужасного шума.

Сомнения нет: кто-то таскает зерно.

Сбежалась вся дружина, смотрит — ущерб великий! Страшное дело! Уж и половины нет.

Горевать тут по пустякам нечего, надо держать совет. Идут к королю.

— Всемиловитый король, — говорят, — какой-то вор у нас берёт зерно. Что нам делать с ним?

— И вы его возьмите.

Дружина отвечает:

— Всемиловитый король, вор, как ветер в поле, перед ним сто дорог открыто, кто ж его поймает?

Тогда король сказал:

— Я дам свою печать, запечатайте все выходы, дабы знать, по которой из этих ста дорог приходит вор.

Берёт дружина печать, затыкает серым мхом все щели, на мху делает решётку из тростника, связывает её самой длинной травой, на узлах кладёт печати, ставит стражу и ждёт.

Пришла ночь.

Тихо везде, точно всё вымерло. На деревьях листок не пошевелился.

Тёмная лазурь без дыхания висит над землёй, а звёзд в ней, словно песку в море.

А стражу в эту ночь держали Микула и Пакула, два родных брата, из которых король Огонёк составил себе придворную полицию, пожаловавши им на голову прекрасные шлемы из полевых колокольчиков и сабли из шпажника, что выставляет из длинных и узких листьев свои огненно-красные цветы.

Стоит Микула неподвижный, как будто аршин проглотил, стоит Пакула, выпрямившись, точно он из дерева выструган, и оба вокруг глазами поводят, чтобы ничто не укрылось от их внимания.

В Соловьиной долине всё спит, — и голубой ручей, и травы, и хлеба; спят мушки и птицы, и хоры лягушек, и водяные лилии, и даже тот старый дуб, под которым Микула и Пакула держат верную стражу.

Так дело шло до рассвета.

Вскочила дружина гномов и бежит к подземелью, — стража стоит, как стояла, печати лежат, как лежали. Заглянули краснолюдки внутрь, а там только горсточка хлеба, только на доньшке осталось.

Изумились они.

Что же это за вор, что замка не трогает, печатей не ломает, а добро уносит?

Смотрят они друг на друга, молчат, никто не знает, какое тут вымолвить слово.

Тогда заговорил король:

— Если моя печать не уберегла добра, и стража моя не уберегла, тогда и никто не убережёт.

В это время Петрушка, — у него в голове всегда бывали новые мысли, — закричал из толпы:

— А что я получу, всемилостивый король, если схвачу этого вора?

Король отвечает:

— Голос за него, когда его будут судить.

Петрушка возмутился.

— Что? Голос за вора? Не хочу я этого! За такого негодяя я и мизинцем не шевельну, когда его будут вешать. Отдай мне лучше, всемилостивый король, ту песню, которую написал маэстро Сарабанда, и которая теперь уже не нужна Полубоярину, потому что он потерял голос.

— Пусть будет так! — сказал король и взмахнул скипетром.

А песня эта была написана на лепестках шиповника и на мотыльковых крыльях чистойшей майской росой так великолепно, что её хранили в сокровищнице как великую драгоценность.

Петрушка от радости подскочил на аршин от земли, обнял королевские колени, снова подпрыгнул и, как ветер, помчался к лесу.





II



ассвет уже приближался, и птицы в лесу начинали уже пробуждаться, когда Петрушка нашёл хатку бабушки и остановился у её низкой двери.

Бедно было в хатке: одна скамейка, камин, жалкая постель, а всё остальное — травы и травы.

Удушливый смешанный запах мяты, лаванды, Melissa и тысячи других растений наполнял всю комнату, в которой можно было бы задохнуться, если бы не отверстие, обращённое прямо к лазурному небу и прикрытое только крыльями совы.

В комнате у камина сидит бабушка, прядёт золотые нити на прялке, тихим голосом поёт старые песни и с тихим шелестом пускает золотое веретено.

— Здравствуй, бабушка! — говорит с порога Петрушка.

Подняла бабушка голову, приложила руку к глазам, смотрит внимательно, наконец признала Петрушку, который уже однажды летал в её хату за иглой для Полубоярина.

— Здравствуй, здравствуй! Входи в добрый час. Что тебе нужно?

Вошёл Петрушка, низко поклонился, поцеловал у бабушки сморщенную руку и говорит:

— Совет мне нужен. Вор таскает у нас добро, а поймать его мы не можем. Сушая беда.

Слушает бабушка, слушает, перестала ногой вертеть колесо, золотое веретено опустила наземь, золотую нитку держит в пальцах, качает седой головой и глубоко думает.

Но вдруг она спрашивает:

— А что таскает вор?

— Зерно таскает, — отвечает Петрушка с великим негодованием. — Посевное зерно таскает, негодай!

А бабушка говорит:

— Подсыпьте ему ещё и жемчуга в это зерно.

— Что? — крикнул Петрушка. — Ещё и жемчуга? Вору, который нас обкрадывает, мы должны ещё подсыпать жемчуга? Бабушка!.. У тебя в голове от старости, должно быть, начало путаться.

Но бабушка уже подняла золотое веретено и, пустив в движение колесо, тянет золотую нитку...

— Подсыпьте ему жемчуга, — ещё раз повторила она и, не обращая внимания на Петрушку, начала петь старинную песню тихим, дрожащим голосом.

— Бабушка! — воскликнул на это Петрушка. — Я шёл к тебе, как к родной матери, за советом. Я не пошёл ни ко Дню, ни к Ночи, ни к Солнцу, ни к Месяцу, а пошёл к тебе, бабушка, потому что знаю, что ты премудра, и премудрость твоя истекает из многих дней и многих ночей, из многих восходов и закатов солнца и месяца, а ты как принимаешь меня? Какой совет даёшь ты мне? Ну, Бог с тобой, вижу я, что ошибся!

Он говорил это с великим сожалением в голосе и с великой обидой в сердце и направлялся к дверям.

Он был уже на пороге, когда бабушка прервала свою песню и крикнула ему вслед:

— Жемчуга... Жемчуга дайте ему! Подсыпьте!..

— Ну да, как же!.. Сейчас!.. — проворчал Петрушка и двинулся в путь, сожалея о напрасно потраченном времени.

Но голос бабушки так вырос, так усилился, такие воздушные круги колебал и волновал один за другим, что, хотя Петрушка был уже далеко, но голос этот летел за ним, над ним, при нём и всё кричал:

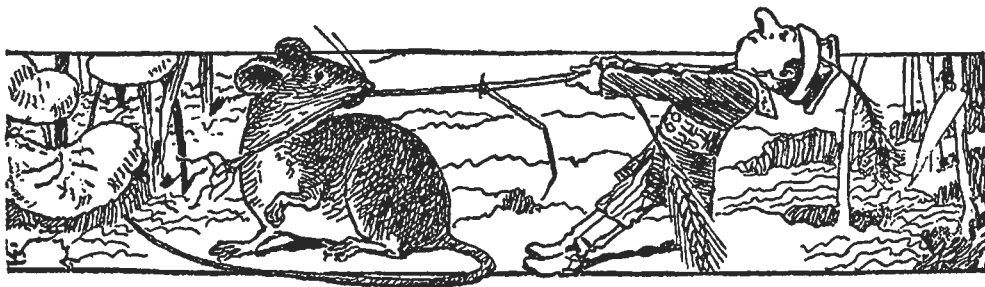
— Жемчуга!.. Жемчуга подсыпьте ему!.. Жемчуга!..

Задумался Петрушка над этой великой мощью голоса, которая могла быть порождена ничем другим, как только великой правдой, остановился вдруг и сказал:

— А может быть, так и нужно! Может быть, так и нужно!

И он начал соображать, как и что ему нужно делать.

— Что будет, то и будет, — оказал он наконец, — авось, за это не повесят.



А так как он всегда бывал смел и охоч до всяких приключений, то возвратился домой в самом отличном расположении духа и тотчас же направился к королю.

— Всемиловитый король! — заговорил он. — Сколько жемчужин ты доверил бы мне на нынешнюю ночь?

Король ответил на это:

— Доверить одну значит — и все доверить. Но я твою верность к нашей персоне ценю больше жемчугов.

Петрушка был очень рад.

— Благодарю тебя на этом слове, всемиловитый король! Доверь мне горсть жемчуга, а если мне удастся словить вора, то я тебе сегодня же представляю его.

— Иди и возьми! — сказал на это король.

И он тотчас же позвал казнохранителя, чтобы он дал горсть жемчуга Петрушке, не считая.

Обнял Петрушка государевы колени, а так как сердце у него было мягкое, то украдкой отёр одну-другую слезинку, потом весело рассмеялся и пошёл за жемчугом.

А на дворе уже начинало смеркаться.

Собрались краснолюдки, смотрят с любопытством, что будет, а Петрушка с горстью жемчуга идёт прямо в подземную кладовую и мешает жемчуг с оставшимся зерном.

— Во имя твоё, бабушка, — говорит он, — и во имя твоей старой мудрости.

Потом он обратился к товарищам:

— Сегодня не нужно ни стражи, ни печатей... Микула и Пакула. Ступайте спать, друзья! Я сам останусь здесь.

Он сел на пригорок, голову прислонил к камню и смотрел вслед уходящим сонными глазами.



С востока поднялся маленький ветерок и зашелестел травой. Весь этот шелест и шёпот словно плыли по воздуху.

Но Петрушка, однако, мало обращал внимания на этот шелест, а так как был утомлён дорогой, то заснул и проснулся только на рассвете. Проснулся он, смотрит, а тут, почти у его ног, виднеется как бы дорожка от пригорка к пустырю, усыпанная теми жемчужинами, которые он примешал к зерну.

Тогда он крикнул и побежал по этому следу, а дружина гномов за ним.

Бежит Петрушка, остановится и потом опять побежит, — через сто, через двести шагов лежит жемчужина, как будто бы кто-нибудь, спешно захватив вместе и зерно, и жемчуг, потом бросал то, что ему не нужно.

«Ой, премудра ты, бабушка, премудра!» — думает Петрушка и подходит уже к самому пустырю.

Смотрит, последняя жемчужина лежит в глубокой борозде, а тут же откинутая грудка земли, а под ней ямка.

Наклонился Петрушка, раскапывает земляной холмик, а две или три жемчужины перед его глазами сыплются в глубину.

По его приказу дружина начинает копать и докапывается до большой ямы, в которой похищенное зерно лежало почти всё в целости.

Тут же сидела, согнувшись, полевая мышь и её семейство.

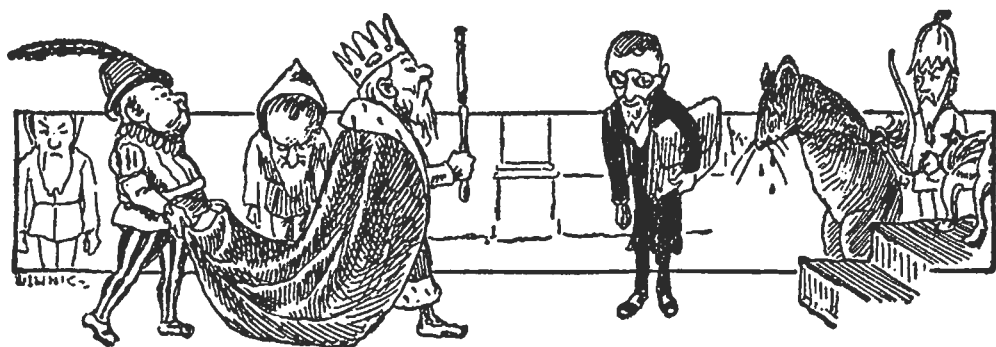
— А, вот ты где! — крикнул Петрушка и схватил за шиворот злодея. — Микула! Пакула! Идите сюда скорей!

Испуганная мышь пискнула, пытаясь вырваться и удрать, но придворная милиция так наслала на неё, что она принуждена была поддаться.

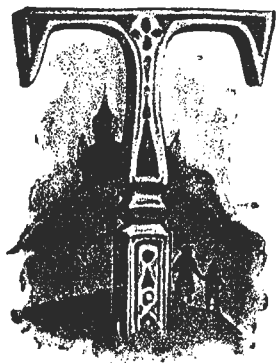
Торжество было невероятное.

С криками, с пением возвращались гномы из экспедиции, ведя пленника и таща мешки с отысканным зерном обратно в своё подземелье.





III



оржественно и великолепно открылся королевский суд в Соловьинной долине. Его величество король выступил во всём своём блеске.

Толстый паж Мычка нёс за ним пурпурный плащ, на голове короля сверкала золотая корона, а бриллиантовый скипетр сеял блеск, как восходящее солнце; у входа в судебный зал стоял государственный обвинитель, мудрый Кошачий Глазок, тут же за ним Микула и Пакула в парадных мундирах, а вокруг, хотя в некотором отдалении, толпились краснорядки, и глаза всех присутствующих были обращены на обвиняемого.

Он стоял сгорбленный, в убогой одежке, с крепко связанными сзади передними лапами, позеленевший от волнения и страха, и так дрожал, что ноги, видимо, тряслись под ним, словно в лихорадке.

Красноречивый Кошачий Глазок, окончив перечисление его вин, требовал суровой кары: самое меньшее, — повесить его на высочайшей ветке дуба, возложив на него издержки по производству дела.

Почтенный обвинитель даже охрип и тяжело дышал, отирая платком вспотевший лоб.

Король сделал мановение скипетром и спросил сам:

— Как твоё имя, несчастный?

Посинела мышь и пошатнулась, но Микула толкнул её к королю, и она ответила тихим голосом:

— Ветошка, слуга вашего королевского величества.

- Зачем ты похитил это зерно?
- Голоден был... Был нищ... Дети мои умирали с голоду.
- Но голод не даёт права похищать чужое имущество. Не так ли?
- Так, милостивый король! — отвечает Ветошка, дрожа всем телом.

— Что же ты скажешь в своё оправдание?

— Ничего... Кроме голода... Голод... Страшный голод...

— Но и при величайшем голоде ты не мог бы съесть такого количества зерна. Десятой доли хватило бы тебе и твоим детям.

— Зимы боялся, всемилостивый король!.. Зима страшно длинна и тяжела... Половина моих детей вымерла в прошлую зиму, король!.. Ах, как они страшно страдали... Самый молодой... самый молодой, король всемилостивый, на моих глазах умирал от голода... Шесть дней, шесть ночей смотрел я на это... и жил... жил и не мог сам умереть за него... не мог!

Отвернул король свой маститый лик, на котором выражалось сострадание, а в толпе гномов послышалось рыдание.

То плакал Петрушка.

Ветошка продолжал:

— После младшего умер старший... Старший сын мой, всемилостивый король, умирал на моих глазах... Десять дней, десять ночей умирал... и я смотрел на это... и не мог умереть за него сам, хотя умирал с ним вместе!

Нахмурил король брови, чтобы удержать слёзы, подступающие к глазам; в дружине краснолюдков послышался глубокий вздох — то Петрушка рыдал громко.

Ветошка говорил дальше:

— А потом умирал третий... Третий сын мой умирал... с голоду умирал, о, всемилостивый король, а я смотрел на это!..

Он сильно задрожал и окончил почти бессознательным голосом:

— Голод... голод... голод...

Но король Огонёк поднял скипетр и сказал:

— Я должен быть строгим, потому что ты тяжко провинился. Зерно это было посевное, предназначенное для посева такому же несчастному, как ты, у которого тоже есть голодные дети. Да будет к тебе применена справедливость.

— Смерть! Смерть преступнику! — воскликнул Кошачий Глазок.



— Смерть! — повторили за ним Микула и Пакула в один голос.

Ветошка стоял, как поражённый громом, трясясь и обводя кругом бессмысленным взглядом.

Король отвернулся и хотел было покинуть свой судебный трон, когда Петрушка бросился к нему из толпы, пал к его ногам и воскликнул:

— Я хочу подать за него голос. Голос за осуждённого, милостивый король! Голос, который ты сам хотел мне дать. Голос! Я прошу голос!

— Даю тебе голос! — говорит король, ласково наклонился к нему и благосклонно дотронулся до него скипетром.

А Петрушка заговорил с рыданием:

— Прости! Прости его, добрый король! Прости! Скажи, что ты прощаешь его! То будет моя песня! То будет моя лучшая песня. Единственная песня! А другой я не хочу! Не хочу!..

Заплакал старый король, видя такой взрыв жалости в своём любимом слуге, и говорит:

— Ты победил, Петрушка! Милосердием своим ты победил мою справедливость. Пусть будет по твоей воле!

Тут он взмахнул скипетром и сказал:

— Отпустить на волю этого несчастного и накормить детей его. С этих пор его дети будут получать пропитание с моего стола. А зерно сегодня же отдать сеятелю и земле, которая ждёт посева.





IV



лопот был полон рот у сиротки, прежде чем она хоть кое-как обрядила хату Скробка. И в огород она, нет-нет, да и заглянет.

Запущение там было такое, что у Марыси сердце изныло.

«Хоть бы чуточку конопляных кустика, — думала она. — Вот было бы хорошо: срезать, высушить, очистить, а в поздние зимние вечера прясть золотистые нитки!»

Её мать, сидя за такой работой, пела отличнейшие песни.

«А если бы две грядки капусты! Земля чёрная, урожайная, кочаны были бы страсть какие!»

И задумалась сиротка Марыся, как бы с весной к этому огороду приложить руки.

«На весну, — думает она, — непременно нужно начать перекапывать в огороде. Да разве одна я тут справлюсь!?»

Вдруг она захлопала в ладоши.

«А Войтусь, а Кубусь? Вот и готовые работники!..»

Но не один этот бедный, пустой, заглохший огородик приводил в уныние Марысю. Всё чаще и чаще её навещала тоска по гусяткам, по пригорку с золотистыми цветочками, по Гасе, который иногда укладывался у её ног на солнечном пригреве, а то срывался и обегал гусятток, весело потягивая.

И вот однажды, приведя хату в порядок, вышла сирота на ближайший луг.

Смотрит она — в высоком бурьяне перед ней мелькнуло что-то издалека словно красная остроконечная шапочка.

— Подзёмок! — крикнула Марыся и побежала за ним.

Сердце её сильно билось, удивительно, как совсем не расколо-тило её худую грудь, а Марыся всё бежала.

Капюшон всё больше и больше отдалялся. Вот он нырнул в зарослях, и Марыся бросилась к зарослям.

Как бы она была рада увидеть Подзёмка, расспросить его... о чём? Она сама ещё не знала. Пусть только ей удастся нагнать его. Тогда она поблагодарила бы его за всё: и за гусятток, которые живы до сих пор, и за угол в хате Скробка, за Войтуся и Кубуся, которые стали чуть не её братьями...

И вот она что есть силы мчалась за удаляющейся шапочкой, как только несли её ноги.

Наконец шапочка исчезла и больше не показывалась.

Остановилась тогда Марыся, оглядывается кругом: куда она зашла?

Да ведь тут и заросли скоро кончаются?..

Словно зарево пожара, просвечивал сквозь них пурпур заходящего солнца. А дальше виден лес. Лес, хорошо ей знакомый. Значит, она забежала на самый конец соседней деревни, Голодной Вольки.

Она сделала ещё несколько шагов. Может быть, она увидит своих серых и белых питомцев, Гасю своего увидит.

И вот она, скрытая густыми кустами, видит, как на выжженном солнцем пригорке её гусятки спокойно щиплют травку, как вокруг них увивается верный Гася, а в волнах пшеницы то наклоняется, то поднимается девочка, новая пастушка. Она рвёт запоздалый мак, васильки, куколь, чтобы сплести потом венок.

Марыся остановилась в зарослях и с любопытством смотрит на всё.

В это время солнышко зашло, пастушка собрала гусей и при помощи Гаси повела их домой. Гася повякивал, в особенности на ту белую гусыню, которая и при Марысе, обыкновенно, всегда опаздывала идти за стаей; наконец гусятница погрозила ей хворостиной, и белая гусыня поплелась рядом с гусаком в первом ряду.

Всё это исчезло за горкой, а Марыся всё ещё стояла в зарослях.

Она думала, что если не с Подзёмком, то, по крайней мере, она поздоровается с Гасей, со своими гусятками; но они ушли, а Марыся им и словечка сказать не успела.



Попросту сказать, она испугалась новой гусятницы. Но теперь, когда уже никого нет, не осмелится ли она хоть минутку посидеть на своём пригорке?

Она раздвигает кустарники... Что это такое?

На земле лежит мёртвый хомяк, а немного подальше также мёртвый Обьедало. У обоих мех разорван, у обоих глубокие, уже почерневшие раны.

Заломила Марыся руки и рот раскрыла от удивления.

Обьедало... тот всегда навёл страх на Марысю.

Но хомяк! Неужели это был её хомяк?

Бежит Марыся к его норке, раздвигает густую траву, помятую там и здесь. Клочки серовато-жёлтой и рыжей шерсти прицепились к стеблям; на листьях, словно кораллы, висят капли застывшей крови; вход в норку разрыт острыми когтями.

Стоит Марыся и задумалась.

— Бедный хомяк! — говорит она.

Это верно, что бедный. Свирепый Обьедало сдержал свою ужасную угрозу и весь свой гнев, что гуси вновь ожили, излил на несчастного зверька. Но и хомяк тоже не прав. Отчего он так равнодушно смотрел, как лис подбирался к гусьткам? Отчего он не предостережёт пастушку или хотя бы Гасю? С гусями не было бы этого несчастья, а лис должен был бы убираться за тридевять земель.

А теперь лежишь ты без жизни, несчастный хомяк. Вот так-то, думая только о себе, ты и сгубил самого себя!

Смотрит Марыся, недалеко, шагах в двух от норки, трава вся помята. Вот здесь-то и подкарауливал хомяка Обьедало, вот отсюда он и прыгнул на него, да только, видно, зашелестел сухим бурьяном, хомяк сообразил, в чём дело, и отступил к своей норке. Но разбойник

Объедало преследовал его и там. Копнул лапой и уже очутился в ямке. И началась кровопролитная борьба. Хомяк ударил Объедалу страшно, смертельно, но и его самого задушили и потащили в кусты. Объедало хотел было тащить его дальше, в свою нору, но и из него уходила жизнь, вместе с кровью.

Бедный хомяк! Если что-нибудь его и могло утешить в последнюю минуту, так это то, что в смертельном бою со свирепым зверем он выказал необычное мужество. Позвольте! Схватить Объедалу прямо за горло, не задумываясь, что будет дальше — это ведь немалое геройство!

Он погиб сам, но и враг его погиб также, хотя силы были и неравные. И так один маленький хомяк, искупая смертью своё равнодушие к другим, избавил всю окрестность от безжалостного и изворотливого преступника.

Тем временем Марыся, глядя на изорванную шкуру хомяка, на его когда-то быстрые, а теперь уже угасшие глазки, на неподвижно и грозно торчащие усики, которыми прежде он так потешно поводил, почувствовала такую жалость к нему, что из-под её опущенных ресниц полились обильные серебристые слёзы.

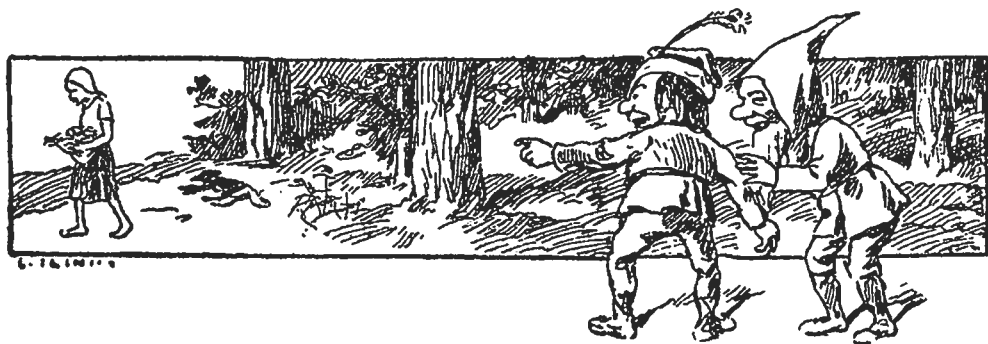
Плача, она опустилась на колени возле хомяка и заговорила ласковым голосом, как будто зверёк мог ещё слышать её:

— Не бойся, не бойся, мой бедненький! Я не оставляю тебя здесь, рядом с этим скверным лисом, рядом с этим хитрым разбойником. Я возьму тебя с собой, бедняжка. Закопаю я тебя в усадьбе Скробка, под большим дубом, глубоко! Ямку я тебе устелю листками... Листками и прикрою тебя... Будешь ты себе лежать тихо, спокойно... Я не оставляю тебя здесь; нет! По крайней мере, близ меня будет хоть один из старых друзей.

Она тотчас же наломала зелёных веток ели, накрыла ими хомяка, положила его в фартук и торопливо пошла домой.

Если б она перед уходом хоть один взгляд бросила на группу растущих невдалеке лопухов, то заметила бы, как шевелились их большие, круглые листья, хотя ветра не было ни малейшего, и как посреди этих листьев мелькает что-то красное, словно огонёк.

И, действительно, едва она свернула на тропинку, ведущую к Скробковой усадьбе, как листья эти медленно раздвинулись,



а знакомый нам по делу Ветошки гном Петрушка осторожно выполз из них и спросил тихим голосом:

— Взяла?

На это из бурьяна, закрывающего норку хомяка, послышался другой голос и тоже тихий:

— Взяла!

С такими же предосторожностями, как Петрушка, из лопухов вылез и Подзёмок, приложив палец к губам.

Но Петрушка, по природе очень живой и не умеющий сдерживать себя, начал скакать и радостно закричал:

— Вот так удалось нам! Вот так удалось!

— Тише ты, сумасшедший! — зашипел Подзёмок, схватив его за руку. — Ты кричишь так, словно находишься здесь один. Она ещё услышит...

— Ну, откуда? Сверчки под вечер так играют, что всех нас заглушат. Но скажи ты сам, — удалось нам, а?

— Как могло бы не удасться! Такая добрая душа и без поощрения пожалеет.

— Вот то-то! Мёд, а не девчонка! С другой дело не пошло бы так ладно.

— Но ты о том дубе и о том погребении так громко подсказывал, что я перепугался, — а ну, как она обернётся на лопухи!

— Я всегда так. Просто, с мосту! Что будет, то и будет! Вот видишь, она ничего и не заметила.

— Ох! — простонал Подзёмок. — У меня даже колени затекли. Я-то ведь в этом бурьяне с самого утра сижу, муравьёв от хомяка прутиком отгоняю, чтобы Марыся дотронуться до него не побоялась.

— А я, — ответил Петрушка, — думал, что ноги поломаю, так бежал впереди неё до Голодной Вольки, чтобы привести её к надлежащему месту. Она даже думала, что это ты, потому что я нарочно так надел на голову капюшон и занял у Василька трубку, чтобы лучше походить на тебя. Уф! Как только я ввалился в эти лопухи, так думал — сейчас заору... Представь себе, между лопухами росла крапива да в каком количестве! Если бы не приказание его величества, то я не посмотрел бы ни на что и убежал бы... Но ничего не поделаешь!.. Король приказал, чтобы это зерно, во что бы то ни стало, было доставлено Скробку сироткой... Это будто бы за то, что он приютил её в своей хате.

— Сейчас видно нашего доброго короля!

— Ну, пойдём за ней!.. Только осторожней...

— Знаешь что, Петрушка? Сними ты сапоги, а то они страшно скрипят.

— Я? Сапоги? Ещё чего! Ты можешь сам скакать босиком, потому что, наверно, привык к этому у бабы, когда был подкидышем. Но я!? Дворянин, рукоположённый его величеством!? Выдумал, нечего сказать!

— Коли нет, так нет! Пойдём! Только не скрипи.

— Зачем мне скрипеть? Пойдём!

И, взявшись за руки, они молча пошли за сиротой, — Петрушка, поднимаясь на цыпочки в своих длинных красных сапогах, которые действительно скрипели, а Подзёмок, шлёпая огромными красными туфлями, которые то и дело сваливались с его ног.





V



ем временем на небо вошёл месяц и своим прекрасным серебристым светом брызнул на лесную тропинку. По этой тропинке шла Марыся, вся белая от лунных лучей, поднимая голову к небу, а худыми ручонками крепко придерживая концы фартука, из которого торчали еловые ветки, прикрывающие бедного хомяка. Она шла поспешно, потому что перед ночью в хате нужно было ещё кое-что убрать, и на ходу раздумывала, говорить ли Войтусю и Кубусю о хомяке или нет?

Но когда она раздумывала, что-то шепнуло чуть не над самым её ухом:

— Нет, нет! Мальчишкам говорить не нужно. Они, пожалуй, ещё разроют хомяка. Правда, мальчишки они милые, но всегда падки на шалости. Лучше поменьше говорить, — вот что!

Марысе показалось, что это ей говорят её собственные мысли, и она ускорила шаг, не зная даже того, что рядом с её тенью, которая падала на дорожку от лунного света, движется ещё какая-то маленькая тень.

То был Петрушка, которому было чрезвычайно важно, чтобы Марыся сама похоронила своего хомяка. Он-то, именно, и подскочил подшепнуть ей её решение, а потом двумя огромными прыжками очутился возле Подзёмка.

— Что ты делаешь сегодня! — тихо воскликнул Подзёмок, когда Петрушка сдёрнул с него капюшон, не рассчитав своего прыжка.

Петрушка ответил:

— Я так рад! Так рад, что король останется доволен: если бы я не должен был сопровождать девочку, то прыгал бы козлом до самого утра.

— Зачем же?

— Как зачем? Разве ты не знаешь, что когда краснолюдки прыгают при месячном свете, то бабы ссорятся?

— Ну, и что ж из того?

— Да ничего! Пусть ссорятся! Завтра суббота, бабы сбивают масло, а когда баба сердита, то скорее собьёт масло. Вот увидишь, какое оно будет густое!



— У тебя всегда глупости в голове.

— Глупости? Подумай о том, что ты говоришь. Густое масло — разве это глупость?

Но Подзёмок положил ему руку на плечо.

— Слушай, Петрушка, — сказал он, — нам нужно поспешить к королю, потому что Скробкова хата уже видна. Ты приготовил какую-нибудь мотыгу под дубом?

— Как не приготовить? Она стояла за дверями в сенях.

— Отлично! Смотри, она идёт прямо к дубу... Хорошая девчонка!

Действительно, Марыся шла прямо к дубу, который тихо и ласково шумел, точно нашёптывал какие-то слова.

Подойдя, девочка поискала глазами какую-нибудь палку, чтобы разрыть землю для могилки своего хомяка, как вдруг увидела Скробкову мотыгу, прислонённую к дубу.

— Славу Богу! — прошептала она. — Тятя забыл мотыгу... Времени достаточно, чтобы выкопать хорошую ямку.

И она тотчас же начала рыть землю, положив хомяка на траву. Ударила она мотыгой один раз, ударила другой и сама себе дивится, как споро идёт её работа. Мотыга словно пёрышко, а земля такая рыхлая, как будто её только что насыпали.

— Я страсть какая сильная сделалась на Скробковом хлебе, — прошептала она с улыбкой.

Она помолчала и тихо вздохнула.

— Эх, эх!.. Чем я заплачу за этот хлеб? Разве только Бог заплатит за меня.

Она только что договорила эти слова, когда её мотыга провалилась сквозь тонкий слой земли в глубокую яму. Девочка едва-едва удержала её.

— Боже Ты мой! — сказала она. — Это, должно быть, дубовые корни так сплелись между собой, чтоб идти в землю, а под ними пустота. Ну, да всё равно! Для моего хомяка хватит на могилку.

Вдруг сквозь ветви дуба проскользнул лунный луч, и под дубом сделалось светло. Марыся подскочила к ямке, запустила в неё руку и вдруг почувствовала что-то сыпучее.

Вынимает она руку, смотрит, — пшеница словно золото. Ещё раз она запустила руку, — зерна целая куча. И куда ни двинь рукой, всюду зерно и зерно!..

А луна всё светлей, а свет всё белее, и такой блеск струится от зерна, что подумаешь, — это сокровище, о котором говорится в сказках, и дуб шумит так тихо, так легко...

...Отплатит за тебя Бог, сирота, отплатит!

— Боже Ты мой! Боже мой! — повторяет изумлённая Марыся, но вдруг вскакивает и с криком бежит в хату.

Прибежала она и остановилась у порога, а сердце у неё бьётся, как птица в клетке.



Holly Bukowska - 1993



— Хозяин!.. Тятя! — говорит она задышающим голосом в то время, как слёзы радости, словно жемчуг, сыплются из её глаз.

Скробек сидел на скамье у камина с поникшей головой, запустив в волосы свои мозолистые пальцы. Он был так тяжело озабочен, чем бы засеять поле, что даже и не слышал, как скрипнули двери, не слышал, как прибежала Марыся.

— Тятя! — повторила Марыся, дёргая его за рукав. — Пшеница нашлась!

Он посмотрел на неё бессознательным взглядом, не понимая, что она говорит. Ему казалось, что это сон.

Но сирота не уступала.

— Пшеница нашлась, тятя! Много пшеницы...

Скробек широко раскрыл глаза; на лбу у него выступили синие жилы.

— Что ты болтаешь? Что ты болтаешь, девчонка? — воскликнул он, схватив её за плечо.

— А как же? — переспросила Марыся, у которой под рукой Скробка даже дыхание спёрло. — Я, тятя, говорю, что пшеница на посев нашлась.

Скробек вскочил со скамейки и ухватился за шапку.

— Что?.. Где?.. Где пшеница для посева?

Руки его тряслись, ноги под ним дрожали, а голос так глубоко засел в его горле, что бедный мужик едва мог промолвить слово от безмерной радости.

— Иисусе милосердный! Где? Где?

— А вон там, под дубом... Под самёхоньким дубом, — весело воскликнула Марыся. — Возьми мешок, тятя, — куча большая!

— Господи Иисусе! Господи Иисусе! — повторял Скробек, разыскивая мешок за печкой. — Куча, ты говоришь?.. Да благословит тебя Господь, сиротка! Вот радость ты принесла мне... словно родная дочь!

Марыся была уже у дверей.

— Да пойдём поскорей... Месяц так и светит...

И они пошли.





Милостыня Полубоярина





I



чѣнный летописец Чепухинский-Вздорный, который после приключения с гусями Марыси проживал в углу Обьедала, однажды безмерно удивился, что хозяин так долго не возвращается. Обыкновенно лис уходил из своей норы под вечер, а возвращался утром, с той только разницей, что уходил он узким отверстием, которое вело прямо к деревне, а возвращался другим, широким ходом, со стороны леса, возвращался нажравшись до безобразной толщины, падал на свою постель и храпел целый день, до самых сумерек.

Чепухинского-Вздорного немало интересовали эти ночные экспедиции его хозяина, но, живя в гостях, он не расспрашивал ни о чём.

Но однажды сам Обьедало заговорил с ним.

— Знаете ли что? Вы видите перед собой самое несчастнейшее существо, которое только ходило по сему свету на четырёх ногах. Моя мать была лунатик, и я унаследовал от неё эту особенность. Если бы вы знали, сколько я переплатил докторам, коновалам, овчарам! Если бы вы знали, сколько мне прописали порошков, микстуры, бальзамов, пилюль! Половина моего состояния ушла на это. Довольно мне будет сказать вам, уважаемый коллега, что я одними рецептами в течение трёх лет отапливал своё помещение, и хотя морозы стояли трескучие, у меня было совсем тепло. И что же вы думаете? Всё ни к чему не привело!

«Лишь только луна блеснёт чуть-чуть — что-то меня гонит, что-то меня толкает, чтобы я шёл и таскался по белому свету. Я уже

пробовал привязывать себя вот к этому колышку, который вы видите посередине моей квартиры — и это не помогло.

Лишь только меня дёрнет что-нибудь, как я оставляю самый лучший клоч своего хвоста на шнурке у колышка, а сам оказываюсь за порогом. Пожалуйста, обратите внимание, я до сих пор ношу следы подобных случаев.

Пошли даже сплетни, что будто бы собаки кузнеца так обезобразили мой хвост, но это, очевидно, клевета и бесстыдная ложь!

И я так уже привык к этому, прогулки в лунную ночь так сроднились с моей натурой, что светит ли месяц, не светит ли, — я должен удаляться из своей норы, лишь только начнёт смеркаться.

И мало того, чем темней, тем больше тянет меня из дома в деревню.

Иногда стоит такая тёмная ночь, что хоть глаза выколи, а я, несчастнейшее существо, блуждаю около какого-нибудь курятника.

И только какое-нибудь кудахтанье курицы или пение петухов (о гагаканьи гусей я даже и не упоминаю) до некоторой степени успокаивают мои нервы. Увы! Такова уж моя судьба!»

Тут лис вздохнул так сильно, что усы его щетиной поднялись кверху, потом свалился на постель и смачно захрапел, широко обливаясь во сне.



Но сегодня Чепухинский-Вздорный был преисполнен беспокойства.

И утро прошло, и полдень миновал, а лиса всё ещё не было.

Выглянул учёный летописец раз, выглянул другой — кругом, куда глаз хватает, шумит тихо лес, а деревья таинственно переговариваются друг с другом, качая верхушками. Пониже, по ветвям

дубов, скакали белки, а ещё ниже шептались папоротники, мхи и земляничные кустики, осыпанные красными ягодами. Вообще — тишина.

Уже и вечер начал приближаться, и месяц блеснул на небе, а лиса нет как нет.

Тогда Чепухинский-Вздорный опоясался сверх своей епанчи, надел на голову капюшон и, проникнутый живым беспокойством, решил пойти отыскивать Обьедалу. Добрый гном привязался к лису, ничего не знал о его разбойничьих похождениях и считал его добродетельнейшим зверем.

И вот он набил трубочку и хотел, было, перед уходом закурить её, как вдруг, со стороны узкого прохода послышались чьи-то тяжёлые шаги. Было ясно слышно, как кто-то шёл со стороны деревни. Кто-то в больших и подкованных сапогах.

Изумился Чепухинский-Вздорный и, как стоял, так и остановился, с кремнем в одной руке и с трутом — в другой, остановился и начал внимательно прислушиваться.

Шаги приближались с каждой минутой; вот они уже у самого заднего крыльца.

Чепухинский-Вздорный приставил ухо к стене, как вдруг услышал густой голос кузнеца, которого видел недавно на пороге его кузницы.

— Подожди, проклятый! — говорил этот голос. — Бабы не справились с тобой, так я справлюсь...

Воцарилась тишина, а у гнома сердце страшно билось. Тем не менее, он не отнимал уха от земли и ждал, что будет.

Вдруг что-то так страшно ударило его в нос, что он чихнул три раза подряд.

— Ага!.. Уже дошло. Уже чихает! — послышался вновь густой голос кузнеца. — Подожди! Получишь ещё и не такое угощение.

И действительно, тотчас же огромный клуб едкого дыма сквозь отверстие ямы ударил в самый нос гнома, так что он отпрянул назад, чихая отчаяннейшим образом.

Тем временем в яму ворвался другой клуб, третий, и воздух настолько пропитался дымом, что у Чепухинского-Вздорного из глаз потекли слёзы. А кузнец продолжал всё своё:

— За моих наседок! За моих петухов! За моих индюшек! Вот тебе! Вот тебе!



А при каждом новом слове сквозь узкое отверстие валил такой удушливый дым, что во всей яме сделалось совершенно темно.

Ошеломлённый Чепухинский-Вздорный ощупью искал другой выход, который вёл в лес, но голова у него так кружилась, перед глазами висела такая густая синяя завеса, что он бессознательно бегал из угла в угол и никак не мог напасть на желанный выход.

Холодный пот покрыл его лоб; сердце билось всё более и более учащённо, вся яма, казалось, кружилась перед его глазами, а дыму прибывало всё больше и больше. Бедный летописец уже начинал думать, что пришла его последняя минута, как вдруг, нечаянно нащупав выход, он, полузадохшийся, выскочил из ямы в лес, пробежал несколько шагов, свалился в папоротник и впал в бесчувствие.

Было тихое раннее утро, когда гном очнулся от долгого обморока. В воздухе ещё чувствовался запах гари, но его уже развеивал восточный ветерок.

Сел Чепухинский-Вздорный, жадно вдыхая свежий воздух; но прошло немало времени, прежде чем он совершенно опамятовался. Голова его ещё и теперь была до такой степени тяжела, что валилась то на одно плечо, то на другое.

Когда наконец всё это прошло, он кинул взор по направлению к яме, но вместо неё увидал только кучу раскопанного песка, прокопчённого дымом. Поднялся учёный муж и в величайшей тревоге побежал к пожарищу. Он вспомнил, что в яме остались перья, которые ему подарил Обьедало, чернильница, сделанная из жёлудя, а главное, только что сшитая из берёзовой коры книга, сооружение которой стоило ему немалого труда. Но напрасно он разрывал палочкой песок чуть не до самого полудня, — от перьев остались лишь обгорелые кусочки, от книги — свернувшиеся

в трубку и обожжённые листки, а чернильница пропала без всякого следа.

Заломил тогда руки летописец, видя полное разрушение всех своих надежд, и две ясные слезы скатились по его закопчённому лицу.

...Так вот какое приключение ожидало его! Так этот кровожадный зверь и великий вождь лисар Великий Лис, уводящий в плен кур и петухов, — одно и то же? Так вот что обозначали прогулки во время лунных ночей? Значит, и он, сам Чепухинский-Вздорный, помогал лису в совершении его нечестивых дел? Значит, он проживал под кровлей безжалостного злодея. А теперь ему придётся нести часть наказания за то, что он легкомысленно доверился преступнику.

Долго стоял гном, погружённый в печальные мысли, когда от задумчивости его пробудил шелест многочисленных крыльев и громкое карканье.

Он посмотрел вверх, — то была стая ворон, летящих над ним и направляющихся к кустам лещины. Вороны покружились над этим местом и спустились на землю чёрной тучей.

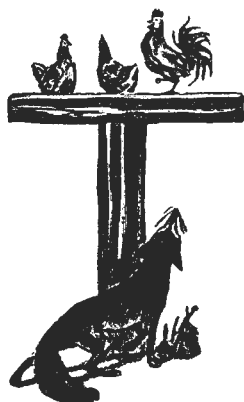
Гном направился туда и к своему величайшему ужасу увидел бездыханно лежащего Обьедалу, над которым и кружилась чёрная стая.

Заплакал добрый Чепухинский-Вздорный над такой страшной судьбой несчастного зверя, глубоко надвинул капюшон на голову и пошёл, куда глаза глядят.





II



ажела и грустна была дорога бедного летописца. Над бором уже летал осенний ветер, срывал с деревьев листья, с шумом уносил их вдаль и бросал наземь. Поля пожелтели, луга почернели, последний жаворонок давно уже перестал петь. Бледное, словно угасшее солнце едва проглядывало сквозь тучи, гонимые северным ветром. Журавли, прорезывая туман, с криком летели далеко-далеко за море.

Голодный и озябший Чепухинский-Вздорный совсем бы погиб, если бы не кучки пастушонков, которые на жнивьях разводили костры и пекли картошку.

И вот, где только в поле он усмотрит синюю ленту дыма, где заметит маленький огонёк, так и направляется к нему, садится на вязанку хвороста и просит у пастушонков картофеля. Пастушонки охотно давали ему, потому что за едой он рассказывал им дивные дивы, а дети слушали, разинув рты.

— Эх! Эх! — говорил он. — Не в таких я переделках бывал! Раз, помню, служил я в войске, — тогда я ещё был адъютантом, — а его величество со всей армией держал квартиру под печкой у одной бабы. И вдруг назначен был марш от печки до самого порога.

«Король посылает меня как своего адъютанта расспросить, может ли войско двинуться в ход. Я выхожу, смотрю, — баба прядёт.

Я вежливо кланяюсь ей и спрашиваю:

— Может ли наше войско пройти через хату?

Баба вытаращила глаза, но всё-таки говорит:

— Можно.

Я тотчас же отправился к королю, король приказал ударить в бубны, под печкой началось усиленное движение, музыка заиграла марш, и всё наше войско прошло по хате, отдавая воинскую честь бабе. Но когда она потом рассказывала об этом, ей никто не хотел верить».

— Какая штука! — говорят пастушонки, ещё шире открывая рты.

А Чепухинский-Вздорный подкидывает ещё охапку хвороста, посыпает картошку горячим пеплом и снова начинает рассказывать:

— А в другой раз вот что было:

«Женился один наш краснолюдок, но он был беден, и гостей ему угостить было нечем. Вот он идёт к овчару и говорит:

— Дай мне самого маленького ягнёнка, а я тебя за это приглашу на свадьбу.



Овчар дал ягнёнка. Прошло немного времени, вдруг являются дружки и приглашают овчара на свадьбу.

— А где будет свадьба? — спрашивает овчар.

— В мышьей норке, — отвечают дружки.

— Ну, хорошо.

Нарядился тогда овчар в новый зипун, сапоги салом намазал, ворот рубахи связал новой ленточкой — идёт.

Тяжело ему было только войти, но он согнулся хорошенько и вошёл.

Вот удивился-то он!

Он думал, что в какой-то мышьей норке будет тесно и грязно, а там всё сверкает золотом. Музыка играет, молодая идёт в первой паре, а стол накрыт на сто персон, и на нём дымит жаркое из ягнёнка.

Наелся овчар досыта, натанцевался вволю, а когда уходил, то музыка играла ему вслед. Вышел он наружу и всё поёт, всё поёт... А эту свадьбу вспоминал до конца своей жизни».

— Боже Ты мой!.. — снова восклицают пастушонки.

Тот и этот кивают головами и говорят:

— Да! Да! Краснолюдки, хоть и малый народ, очень сильны и много вещей знают.





III



то время, когда это происходило, Полубоярин вышел на маленькую осеннюю прогулку.

Здоровье его снова было в цветущем состоянии. На вздувшемся горле едва виднелся шов, который наложила ему бабушка, но огромный белый галстук почти скрывал всё это.

В этот день на Полубоярине были табачного цвета визитка, серые штаны, красивый жилет, вдоль которого колебался тяжёлый брелок от часов с гербовой печатью. Воротнички и манжеты его рубашки отливали снежной белизной, под мышкой тросточка, на ногах лёгкие башмаки, руки затянуты в зелёные перчатки.

Он шёл, надутый и довольный самим собой, голову высоко задирал кверху, и, хотя потерял голос, самомнения у него прибавилось вдвое. Вот это-то самомнение так и раздувало его.

Старые товарищи его выползали на берег ручья, тот и другой заквакали от изумления; но Полубоярин даже не соблаговолил обратить на них внимания.

— Эта лягушачья толпа думает, что может брататься и дружить со мной! — шептал он самому себе. — Какое бесстыдство! Я как можно дальше переселюсь от этого ручья, чтобы не знаться с такой милой семейкой. Очень может быть, что я куплю себе в городе дом. Тех денег, которые я получил от гномов за мою прекрасную музыку, хватит.



Он шёл, раздумывая об этом, как вдруг до него долетел какой-то тихий умоляющий стон.

Смотрит Полубоярин, а у плетня стоит старый, маленький человечек с обнажённой головой, с худым лицом и протягивает к нему руку, прося о вспомоществовании.

— Не откажите в моей просьбе, господин! — говорит несчастный подавленным голосом. — Я бездомный скиталец... Чепухинский-Вздорный по прозвищу... Может быть, вы слышали обо мне? Я когда-то был придворным историком короля Огонька... Меня покинуло всё... всё, и слава, ради которой я пожертвовал спокойствием, и счастье. Где товарищи мои? Где моя страна?

Он говорил, а крупные слёзы так и лились по его исхудалому лицу.

Но Полубоярин надулся ещё больше и хотел было пройти мимо, как вдруг увидал сороку, которая сидела на плетне и смотрела на него то одним, то другим глазом. И он в тот же момент изменил своё намерение и полез в карман.

Он знал отлично, что ещё в тот же самый день вся околица узнает от этой сороки, какой Полубоярин милостивый и великодушный.

Чепухинский-Вздорный подставил свой капюшон, ожидая милостыни; но в это время сорока, испуганная его движением, улетела.

Полубоярин ещё раз изменил своё намерение и, нащупав пальцами в своих карманах несколько засохших и истёртых листьев, вытащил их и бросил бедняку в капюшон.

— Спасибо! — говорит Чепухинский-Вздорный.

И вдруг эти листки заблистали в его капюшоне, как солнце.

Смотрит Полубоярин, а бедняк держит в руках горсть чистейшего золота; схватился за карман, в котором держал кошелёк с дукатами, — а там только горсточка сора.

Вскрикнул Полубоярин, как будто никогда не терял голоса, и поднял на бедняка трость, но маленький старый человечек исчез из его глаз, словно сквозь землю провалился. Только в воздухе послышался голос, идущий от далёкого ручья: «Брат... брат... наш... наш... лягушка... такой же, как и мы!...» То был последний хор лягушек в эту осень.





Возвращение гномов под землю





I



олнце заходило, огромное и золотое осеннее солнце. Вот уже несколько дней, как небо распогодилось, земля отогрелась, какая-то полевая птичка запела запоздалую песенку. В розовом воздухе, на межах, маргаритки смыкали свои золотистые и серебристые глазки; в великой золотой тиши с тополей падали последние листья.

Скробек только что досеял последнюю горсть пшеницы и стоял, озарённый вечерним заревом, в своей холстинной рубаше, с обнажённой головой, с радостным и ясным лицом и смотрел, как догорает заря. У леса пасли лошадку два его мальчонки, здоровые и крепкие, словно цветы полевого мака; лошадка, нет-нет, да и заржёт, щипнёт клочок оставшейся травы, а детские голоса громко раздавались в вечерней тиши.

Но в Соловьиной долине царили шум и суматоха. То король Огонёк созвал совет и теперь торжественно закрывал его. Зрелище было прекрасное.

Под вековечным дубом, листья которого еле-еле дрожали в тихом, ясном воздухе, стоял королевский трон, сложенный из полевых камней, покрытый ковром мхов, украшенный цветами. Вокруг трона дружина верных краснолюдков в ярких одеждах, в пёстрых капюшонах, с инструментами в руках.

Дружина держит себя бодро, нет ни одного печального и унылого лица.

Улыбка перелетает с уст на уста, в глазах блещет отвага, руки сплетаются в братском рукопожатии, сердца бьются живо.

Но вдруг шум умолк, и говор утих.

Встал король таким, каким он был в Иванову ночь, в белой королевской одежде, в золотой короне, с бриллиантовым скипетром. Но хотя он был весь в белом, от заходящего солнца на него падал такой блеск, что порфира его отливала то золотом, то пурпуром, по лицу мелькали яркие огоньки, а седая его борода отливала серебром.

Вот он встал и поднял скипетр. Трубачи проиграли на золотых трубах краткий сигнал и замолкли.

Король посмотрел на свой народ и сказал:

— Дружина моя верная! Труженики мои! Кончаются ваш день и ваша работа. Наступает вечер, а с ним — отдых и спокойствие. Оглянитесь на утро и на полдень вашего труда при блеске вечерней зари, ибо она тот факел, который показывает правду дня.

Здесь старый король остановился, и наступила тишина. А в это время издали слышался какой-то шум, говор и удары молота. То звонарь исправлял давным-давно испорченный колокол на старой колокольне и ковал ему новое сердце.

Но король заговорил снова:

— Была весна, и вы сеяли цветы, пустынные и дикие места обращали в радостные и прекрасные. Было лето, и вы пели песни погоды и труда. Пришла осень, и вы стоите, осенённые её золотом и пурпуром, и считаете, какие плоды она принесла вам, дабы вы воспользовались ими в радости.

Тут король замолчал, отдохнул на время, и была тишина.

И снова в этой тишине, но только ещё сильнее, слышался тот же странный звук.

Молот всё громче ударял на высокой башне.

Холодом дохнуло на дружину краснолюдков, холодом тени, сумерек и сырой земли, неожиданная дрожь охватывала то одного, то другого.

Король говорил дальше:

— В вечерней заре золотится клочок земли, который прежде находился в запустении, а теперь вспахан и засеян зерном. И золотится радостью душа человека, который сделал это.

«И вы были помощниками его.

И вот головки его детей, увядшие головки, ожили, и были дети его грустны, а теперь радостны, и были они предназначены мраку, а теперь предназначены свету.

Но вы были помощниками света.

И вот, сирота, которая была, как ягнёнок без пристанища и как голубь без гнезда, пригрета под кровлей и принята в семью, как родная. Она благословение хаты, и добро вошло вместе с нею, как входит благоухание вслед за весенним цветком.

Вы и в этом пришли со своей доброй помощью».

Король замолчал, и наступила тишина.

А в этой тишине отозвались три удара молота; только три, но такие могучие, что сразу можно было узнать, что эти удары последние и что дело мастера кончено.

Повернул король свою седую голову и начал прислушиваться, и дружина его прислушивалась.

И прошла по ним дрожь, и холодом повеяло от бора. Глаза их потухли, улыбки исчезли, руки начинали судорожно сжиматься.

Вспомнили тогда краснолюдки старое-престарое сказание, что где ударит колокол, там они должны скрываться под землю.

Но король был спокоен и так говорил дальше:

— Одного из товарищей мы утратили, братья, учёного Чепухинского-Вздорного. Он отделился от нас, чтобы искать славы. Не нам судить его. Пускай он идёт за своей звездой. Что касается нас, то мы прожили здесь хорошие дни и счастливые минуты. Благословим этот уголок земли!

— Благословим! — воскликнули верные краснолюдки.

И вдруг сделалась тишина.

Вознёс руки старый король, простёр их над умиротворённой долиной и благословил её.

Сто рук поднялось в воздух, в котором дрожала сверкающая звезда королевского скипетра, и все благословили этот уголок земли.

А в это время солнце огромным шаром скатилось за край горизонта.

— Прекрасный закат! — сказал король.

— Прекрасный... прекрасный закат! — воскликнули верные краснолюдки.

В эту минуту зазвонили колокола...

Далеко где-то, далеко, высоко где-то, высоко, над бором, над лесом плыл голос колокола и обнимал поля и луга, и дрожали под ним орошённые травы, и злаки, и от неба до земли широко разливался голос колокола...

И вдруг от этого голоса с верных краснолюдков начали осыпаться их краски так, как осыпаются золотые листья с деревьев в голубой и солнечной тишине сентябрьского утра.

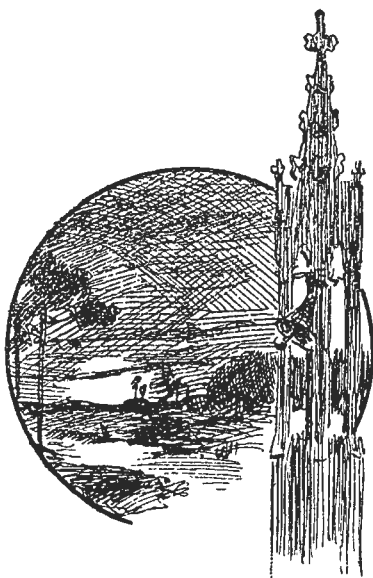
Пригорок, трон, старый король и вся дружина развеялись тенью.

Колокол звонил... Солнце угасало.

Листки, легко носящиеся над землёй, посыпались вниз.

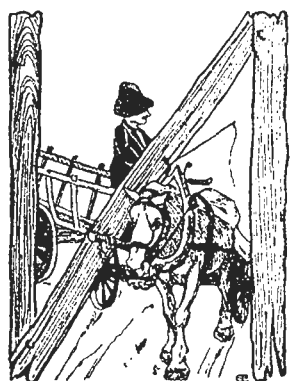
Под их слоем исчез пригорок, на котором за минуту стояли краснолюдки.

Они покажутся снова, но не раньше, чем засветит весеннее солнышко.





II



зо всего народа малых краснолюдков на земле остался только один Чепухинский, который не попал на общую сходку.

Старый, покинутый сирота при месячном свете тихо ступает по снегу и греет дрожащие руки в серебряном свете.

Один Чепухинский ходит по свету со своей белой бородой, с большими, косматыми бровями, с капюшоном, а также и со своим старым, добрым сердцем, со связкой ключей у пояса, которыми запирает полевые колокольчики, чтобы они не будили спящих лугов, и ландыши, чтобы они не будили леса во время зимы.

Один Чепухинский ходит по свету, нижет блестящие шнурки из ясного инея. Он уже совершенно покинул мысли о славе, которая была источником его гордыни и несчастья.

Сделался он простым, тихим, добрым, не гнушается малыми, делит сердце со всем живым творением.

Тяжёлые минуты испытал он, когда узнал от маэстро Сарабанды о закате и сумерках всей своей дружины, которая скрылась под землёй от мороза.

Но потом он переболел, и часто сидит под дубом с дивным музыкантом и слушает его песни.

Большую свою «Историю краснолюдков» он, наверно, никогда не напишет.



Да и зачем ему, зачем всему миру такая книга, которую огонь может спалить, а ветер развеять?

Он нашёл себе лучшую, живую книгу.

Он садится у кроваток детей, когда они не могут уснуть, и рассказывает им о короле Огоньке, о его золотой короне, королевском одеянии и бриллиантовом скипетре, он рассказывает им о Хрустальной пещере, о мечах, о щитах, о рыцарях, он им говорит о великой весенней экспедиции на телеге Скробка, о сокрытых сокровищах, о дружине верных товарищей и о сиротке Марысе.

Он и мне, когда на меня напала бессонница, однажды зимней ночью рассказал всю эту историю, которую я здесь и записала.





Helly Bagrow

Содержание

Вступление	5
Как придворный летописец короля Огонька распознавал весну	7
Приключения Подзёмка	49
Король Огонёк покидает Хрустальную пещеру.....	83
Подзёмок встречается с сироткой Марысей	95
Хорошие времена.....	131
Концерт маэстро Сарабанды	149
Василёк и его ученик.....	165
У королевы Татры	179
Субботка	199
Дело Ветошки	219
Милостыня Полубоярина	247
Возвращение гномов под землю	261



Мария Юзэфовна Конопницкая
ИСТОРИЯ О ГНОМАХ И О СИРОТКЕ МАРЫСЕ

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Том 253

На основании п. 2.3 статьи 1 Федерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010
не требуется знак информационной продукции, так как данное издание
классического произведения имеет значительную историческую,
художественную и культурную ценность для общества

Верстка, переработка буквиц *Андрей Кутковой*
Обработка иллюстраций *Сергей Козлов*
Корректura *Надежда Павленко*

Дизайн обложки, подготовка к печати
А. Яскевича

Гарнитура Гарамонд Премьер Про
12 кегль

Сдано в печать 18.03.2024
Объем 17 печ. листов
Тираж 3000 экз.
Заказ № 1538/24

Бумага матовая мелованная
Омела 115 г/м²



ООО «СЗКЭО»
Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44
E-mail: knigi@szko.ru
Интернет-магазин: www.szko.ru

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт»,
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс №3А,
www.pareto-print.ru



Забавные сказки, где героями являются гномики-краснолюди, среди которых Репейник, Соломинка и другие малыши, их достославный король Отонек, его придворный историк Чепухинский-Вздорный, сиротка Марыся, песик Гася, музыкант Сарабанда, лягушонок Подубоярин, лис Обьедало, королева Татре, крестьянин Скробек и еще множество других персонажей, сочинила польская писательница Мария Юзефовна Конопницкая (1842–1910). В современной Польше ее помнят. Именем Конопницкой названы несколько польских улиц и площадей. С середины XX века в польском

Жарновце работает музей писательницы. В 2010 году в Варшаве была учреждена Международная премия имени Марии Конопницкой, и это неудивительно, ведь ее литературное наследие достаточно велико. Любопытно, что Конопницкая (до замужества Василевская) получила лишь домашнее образование и провела только год в одном из монастырских пансионов Варшавы. При этом Мария Юзефовна не только писала для детей — она была также поэтессой, переводчицей, журналисткой, критиком и много писала для взрослых. Ее творчество высоко ценил нобелевский лауреат по литературе Генрик Сенкевич.

Писать для детей Конопницкая начала довольно поздно — в 1884 году. К тому времени Мария Юзефовна была известна в Польше в качестве политической активистки и патриотки, боровшейся как за независимость своей страны, так и за права женщин. Она много работала с польским фольклором; возможно, из него писательница и черпала вдохновение для своих сказок. Несколько ее стихов стилизованы под народные песни. Одно из стихотворений Конопницкой в течение некоторого времени было неофициальным гимном Польши. История о маленькой сиротке и помогавших ей гномах стала самым известным детским произведением писательницы.

Со сказками Конопницкой русскоязычных читателей познакомил переводчик и журналист Вукол Михайлович Лавров (1852–1912). Его отец торговал хлебом в Ельце, а сам Вукол окончил всего три класса Елецкого городского училища, что не помешало ему позже издавать в Москве журнал «Русская мысль». Лавров много переводил с польского, в частности романы Генрика Сенкевича «Огнём и мечом», «Потоп» и другие его произведения. В 1904 году Вукол Михайлович за свою литературную и просветительскую деятельность стал почетным членом Общества любителей российской словесности.

Сказки Конопницкой были чрезвычайно популярны в Польше на рубеже XIX и XX веков. Их неоднократно переиздавали, украшая рисунками различных польских художников. С примерами таких иллюстраций читатели могут познакомиться в этой книге.

